

Ника Фрост

ПЯТЬ ЗАРУБОК

ЧУЖАЯ
ДОЛЯ



Ника Фрост

Чужая доля

Серия «Пять зарубок», книга 1

<https://litres.ru/74575844>

SelfPub; 2026

Аннотация

Говорят, от добра добра не ищут. А ещё говорят — от подарков не отказываются.

Вера Ладыгина в приметы не верит. Она фельдшер и привыкла иметь дело с вещами куда более понятными: болезнями, долгами, чужой болью и собственной дочерью-подростком.

Но после странной смерти пациента Вера оказывается в деревне Долгое, затерянной среди Лихолесья. Здесь старики выглядят моложе своих лет, гостей встречают хлебом-солью, а подарки делают от чистого сердца.

Только почему-то местный водитель советует ничего у них не брать.

Ни еды. Ни вещей. Ни даже простой ниточки.

Потому что некоторые подарки приходится оплачивать не деньгами.

А своей долей.

Содержание

Пролог	4
Глава 1. Пояс	8
Глава 2. «Дареному коню в зубы не смотрят»	31
Глава 3. «Здоровы будем»	50
Глава 4. Внученька	69
Глава 5. Седьмой кордон	88
Конец ознакомительного фрагмента.	90

Ника Фрост

Чужая доля

Пролог

Давно это было. Никто уж теперь не скажет, при каком царе. Стояла на краю Лихолесья деревня, и звалась она тогда не Долгое, а Вдовье. Потому так звалась, что мужики в ней до седины не доживали. Кого лесиной придавит, кого лихо-манка скрутит, кто в озере сгинет, а кто и просто ляжет с вечера здоровый, а к утру уж холодный.

Бабы вдовели рано, да и сами долго не заживались. Ребятишек хоронили чаще, чем крестили. Говорили старики, что место такое: лес из людей силу тянет. А еще говорили, будто сидит в том лесу, под сухой елью, Та, что прядет. На каждого человека у нее своя кудель отмерена, кому с горсть, кому с охапку, а вдовьинским и вовсе по щепотке досталось. И просить прибавки без толку: сколько дадено, столько и спрядется.

Жила во Вдовьем баба, Агафьей звали. Семерых родила, шестерых схоронила, и мужа за ними следом. Осталась у нее одна дочка, последняя, Улита, девяти годов. И та по осени слегла: горит вся, губы обметало, в чем душа держится. Позвали знахарку из дальнего села. Та поглядела, в печь попле-

вала и говорит: «Не жилица. До Покрова не дотянет. Нить у ней кончается, я таких видала».

Не стала Агафья ни выть, ни причитать. Повязалась платком, взяла краюху хлеба да клубок шерсти и пошла в Лихолесье. Шла день, шла ночь, а к утру вышла на поляну, где трава не растет и птица не садится. Стоит посреди поляны ель, сухая от комля до макушки, и вся, как паутиной, серыми нитями увешана. А под елью сидит баба, худая да долгая, что жердь. Прялка перед ней сама собой крутится. Глядит та баба одним глазом, а второй у нее – будто сучок гнилой.

Поклонилась Агафья в землю и говорит:

– Прибавь моей Улите кудели. Что хочешь проси, все отдам.

Усмехнулась Та, что прядет.

– Все отдашь? А у тебя, кроме девки, и нет ничего. Не прибавлю. Кудели на всех отмерено, лишней не держу. Нить длинней не сделаю.

Упала тут Агафья ей в ноги, за подол ухватила. Подол холодный, что вода в проруби.

– А коли так, – говорит. – То и меня с ней рядом пряди. Мою нить отрежь, ей привяжи.

– Твоей там на три зимы осталось, – отвечает та. – Невелик прибыток. А вот чужую приплести могу. Чужой кудели на свете много, ходит она мимо вашей деревни по дороге, сама в руки просится. Принеси мне волос чужого человека – приплету его долю к девкиной. А недолю ее, хворь да смерть,

на него переведу. Будет твоя Улита жить, покуда чужое не кончится. А кончится – еще принесешь.

Затряслась Агафья. Поняла, о чем речь.

– Это ж грех, – шепчет. – Это ж человека извести.

– А ты не изводи, – говорит Пряха. – Ты подари. Сотки ему поясок, да свой волос в него впусти. Подай через порог из рук в руки. Возьмет да спасибо скажет – его воля, не твоя. А что с подарком взял, про то он не спрашивал. И волос его не рви, не воруй. Пусть сам оставит: на гребне ли, в бане ли. Неволить не смей. Неволей взятое рвется, и тебя той же нитью захлестнет.

Молчит Агафья. А Пряха дальше говорит, и прялка у нее все крутится:

– Уговор мой такой. Десятая нить – мне. На ель повесишь, имя на бересте напишешь. И еще запомни накрепко. Чужое впрок идет, покуда хозяин назад не спросил. А спросит трижды, сам, своим голосом, да имя свое назовет – отдашь. Не отдашь – сама приду и возьму все разом, и твое, и девкино, и всей вашей деревни.

– Да кто ж спросит-то? – говорит Агафья. – Он же и знать не будет.

– Вот и гляди, чтоб не знал, – отвечает Та, что прядет, и глаз свой единственный шурит. – Ласкова будь. Ласковой бабе всякий спасибо скажет.

Вернулась Агафья домой. А на Покров, как лег первый снег, постучался к ней в избу коробейник, человек прохо-

жий, веселый. Попросился обогреться. Она его и в бане выпарила, и щами накормила, и гребень костяной подала – кудри расчесать. А поутру на дорогу поясок подарила, тканый, красный с серым. Подала через порог. Он взял, в пояс поклонился.

– Спасибо, – говорит. – Хозяюшка. Век твоей доброты не забуду.

Век у него вышел короткий. До соседнего села не дошел: нашли его у дороги, седого да скрюченного, будто сто лет ему. А Улита к вечеру встала, молока попросила.

С той поры перестали во Вдовьем помирать до срока. И срока-то самого, сказывают, не стало. Потянулись к Агафье бабы: одна за мужа просить, другая за сына. Научила она их, как пояса ткать да как гостя привечать. Стали вдовьиинские жить долго, так долго, что и название деревне переменили. Теперь она на всех картах значится как Долгое.

А коробейников в тех краях с той поры больше не видели. Да мало ли кто по дорогам ходит. Свет не без добрых людей, а добрый человек от подарка не откажется.

Глава 1. Пояс

Вызов упал в три сорок, когда Вера только-только пристроила голову на спинку сиденья и закрыла глаза. Рация кашлянула, и диспетчер Люба сонным голосом, каким обычно объявляют остановки в трамвае, сказала:

– Двадцать седьмая, примите. Вокзал, первая платформа, мужчина без сознания. На вид лет шестьдесят. Вызывает линейный отдел.

– Двадцать седьмая приняла, – ответила Вера, не открывая глаз.

Михалыч уже выруливал со стоянки у круглосуточной аптеки, где они простояли минут двадцать. Двадцать минут тишины за ночную смену – это, можно сказать, подарок. До этого были два давления, один пьяный с разбитой бровью, бабушка, которой показалось, что у нее остановилось сердце, и ложный вызов на проспект Строителей, где им никто не открыл.

– Опять вокзал, – проворчал Михалыч. – Спорим, бомж? Напился, улегся, а линейщикам возиться неохота, они нас и дергают.

– Сказали, без сознания.

– У них всякий, кто храпит, без сознания.

Сзади, в салоне, завозился Данила. Стажер досыпал на носилках, укрывшись собственной курткой, и просыпался тя-

жело, по-детски, с сопением и причмокиванием. Данила был длинный, белобрысый, работал на подстанции третий месяц и до сих пор бледнел при виде рвоты. Вера каждую смену давала себе слово быть с ним помягче и каждую смену срывалась.

– Вера Андреевна, а что там? – спросил он, просунув голову в окошко между салоном и кабиной.

– Вокзал. Мужчина, шестьдесят, без сознания. Укладку проверь и кардиограф. И куртку свою с носилок убери, на них люди лежат.

– Я стелил простыню...

– Данила.

– Понял.

* * *

Город в этот час был пустой и желтый от фонарей. Август перевалил за середину, ночи стали холодные, и над рекой за мостом висел туман, плотный, как вата из аптечной упаковки. Михалыч сирену не включал, только маячки. Вера смотрела на все это и считала в уме. До конца смены четыре часа. Потом сутки дома. Потом опять. Зарплата двенадцатого, платеж по кредиту пятнадцатого, и после этого платежа на карте останется столько, что лучше не смотреть.

Кредит был не ее. То есть по бумагам ее, она в свое время расписалась как созаемщик, потому что Олег умел просить так, что отказать ему было все равно что пнуть щенка. «Верунчик, это на полгода, пока я не раскручусь. Ты же в

меня веришь?» Она верила. Олег раскручивался восемь лет, сначала с автомойкой, потом с какими-то кофейными аппаратами, потом с криптой, а в марте собрал сумку и пропал, оставив ей на память миллион четыреста долга и телефон, который был теперь всегда вне зоны.

– Приехали, – сказал Михалыч.

Вокзал встретил их запахом креозота и вчерашних беляшей. На первой платформе под навесом стоял сержант линейной полиции, молоденький, с красными от недосыпа глазами, и светил фонариком себе под ноги. У его ботинок, привалившись спиной к чугунной ножке скамейки, сидел человек. Чуть поодаль переминался парень в наушниках и держал перед собой телефон. Снимал.

– Убери, – бросила ему Вера на ходу.

– А че такого? Общественное место.

Спорить было некогда. Она присела на корточки, и Данила поставил рядом оранжевый чемодан.

Мужчина и вправду выглядел лет на шестьдесят. Может, на шестьдесят пять, но таких шестидесятипятилетних Вера видела нечасто. Крепкий, широкий в кости, с тяжелыми руками, какие бывают у людей, всю жизнь проработавших на земле. Лицо темное, обветренное, в глубоких складках, но складки эти были не старческие, а такие, как у рыбаков или трактористов, от солнца и ветра. Волосы густые, русые с проседью. Одет чисто и странно: суконный пиджак, каких давно не шьют, рубаха, застегнутая под горло, сапоги. Настоящие

кирзовые сапоги, смазанные чем-то жирным. Рядом лежал фибровый чемоданчик с железными уголками.

Перегаром от него не пахло. Пахло дымом, сеном и еще чем-то сладковатым, вроде лежалых яблок.

– Давно он так? – спросила она у сержанта.

– Минут пятнадцать. С поезда сошел, с усть-лихвинского, я его еще заметил: идет, как по минному полю, озирается. Дошел до скамейки, сел. Потом гляжу – сполз.

– Документы?

– Не смотрел еще. Вас ждал.

Пульс на запястье частил, но был полный и ровный. Дыхание свободное. Зрачки на свет фонарика сузились как положено. Вера надела манжету: сто тридцать на восемьдесят. У нее самой после ночи бывало хуже. Сахар четыре и восемь. Сатурация девяносто семь.

– Обморок? – с надеждой спросил Данила.

– Может, и обморок. Кардиограф давай.

Она расстегнула на мужчине пиджак, потом рубаху. Грудь у него была широкая, безволосая и тоже не стариковская, без дряблости. Данила лепил электроды, путая красный с желтым, и Вера молча переставила их сама. Лента поползла из аппарата, ровная, как в учебнике. Синусовый ритм, никакой ишемии. Тогда она опустила руки ниже, чтобы пропальпировать живот, и наткнулась на пояс.

Сначала она приняла его за бандаж. Серая полоса в три пальца шириной охватывала тело под ребрами и сидела так

плотно, что кожа над ней и под ней выпирала валиками. Вера подцепила край ногтем. Это была не резинка и не аптечный трикотаж. Ткань. Плотная, домотканая, жесткая на ощупь, вроде тех поясов, какие продают на ярмарках народных промыслов, только без всякого узора. Серая, с редкими темными и светлыми прожилками.

– Что это у него? – Данила вытянул шею.

– Пояс какой-то. Посвети.

Она повела пальцами вдоль полосы, отыскивая застёжку или узел. Обвела вокруг, насколько можно было дотянуться, не переворачивая тело. Сержант помог приподнять мужчину за плечи. На спине пояс был такой же гладкий, как и спереди. Ни узла, ни шва, ни пряжки. Сплошное кольцо, будто его соткали прямо на человеке.

А кожа под ним Вере не понравилась. Там, где ей удалось оттянуть ткань на полсантиметра, виднелась белая, в синеву, вдавленная борозда. Такие остаются от жгута, если забыть его на час.

– Данила, ножницы.

– Вера Андреевна, а может, не надо? Вдруг это что-то... ну, религиозное?

– У него борозда, как у удушенника. Мне живот посмотреть надо. Вдруг там аневризма, а мы его в обморок запишем. Ножницы.

Ножницы для разрезания одежды у нее были хорошие, свои, купленные на собственные деньги, с тупым загнутым

концом. Они брали джинсу, кожаные ремни и однажды взяли мотоциклетную куртку. Вера завела нижнюю браншу под край пояса и сжала ручки.

Ножницы не взяли.

Она нажала сильнее. Ткань спружинила, как резиновая. В эту секунду мужчина открыл глаза, и его рука перехватила ее запястье. Хватка была железная.

– Не тронь, – сказал он хрипло. – Не режь.

– Тихо, тихо, отец. Скорая помощь. Вам плохо стало на вокзале. Как вас зовут?

Он не ответил. Смотрел на нее в упор, и глаза у него были ясные, светло-серые, совсем не мутные. Потом перевел взгляд на ножницы, на собственный живот, на платформу, на поезд, который все еще стоял у перрона с погашенными окнами. Вера почувствовала, как пальцы на ее запястье разжимаются. Не от слабости. Он сам их разжал.

– Город? – спросил он.

– Город. Вокзал.

– Доехал, стало быть.

Он вдруг улыбнулся, и от этой улыбки Вере сделалось не по себе. Так улыбаются люди, которым сказали, что анализы пришли хорошие.

– Ты, дочка, режь, – сказал он. – Режь, не бойся. Я ведь сам не могу. Пробовал – рука не подымается. А ты режь.

– Что это за пояс? Давно носите?

– Давно, – он закрыл глаза. – Ох, давно.

– Он вам кровообращение перетягивает. Сейчас сниму, посмотрю живот, и поедem в больницу, хорошо?

– Хорошо, – согласился он. – Все теперь хорошо.

Вера снова свела ручки ножниц. На этот раз ткань подавалась. Не разом, а по волоконцу, с тихим треском, будто рвалась не шерсть, а что-то живое, вроде сухожилия. Последняя нитка лопнула, и пояс распался. Мужчина выдохнул, длинно, со стоном, и обмяк.

Концы разрезанной полосы Вера вытянула у него из-под спины. Один, покороче, остался у нее в кулаке, и она, не думая, сунула его в карман форменной куртки. Руки были заняты другим.

Живот оказался мягкий, безболезненный. Никакой пульсации, никакого напряжения. Она еще раз померила давление. Девяносто на шестьдесят.

– Упало, – сказал Данила.

– Вижу. Вену ставь. Физраствор. Михалыч, каталку!

Пока переключивали, пока катили к машине, пока Данила с третьей попытки попал в вену, она на лицо больного не смотрела. Смотрела на монитор. А когда посмотрела, то решила, что это свет. В салоне скорой лампы синеватые, мертвенные, под ними и здоровый человек выглядит покойником.

Только свет не объяснял, почему у него ввалились щеки.

– Вера Андреевна, – позвал Данила шепотом.

– Что?

– У него волосы...

Волосы были белые. Не седые с проседью, какими она видела их на платформе пять минут назад, а белые, редкие, и сквозь них просвечивала розовая кожа с коричневыми пятнами. Вера моргнула. Наверное, на платформе было темно. Наверное, фонарь давал желтизну. Она сама себе это сказала, очень отчетливо, как говорят вслух правила перехода улицы.

– Давление?

– Семьдесят на сорок.

– Дофамин. Михалыч, в первую городскую, с сиреной!

Машина рванула с места. Вера держала мужчину за руку, нащупывая пульс, и эта рука менялась у нее под пальцами. Вот только что была тяжелая, мясистая ладонь, а теперь – сухая птичья лапка, обтянутая пергаментом, с узловатыми суставами и ногтями, желтыми и толстыми, как роговые пластинки. Вены вздулись синими шнурами. На предплечье, там, где Данила заклеил пластырем катетер, кожа собралась мелкими складками и пошла кровоподтеком, как это бывает у глубоких стариков, которых и тронуть-то страшно.

«Обезвоживание, – сказала себе Вера. – Резкая декомпенсация. Шок. При шоке черты заостряются, это описано, это Гиппократ еще описывал». Но Гиппократ ничего не писал про то, как у человека за пять минут выпадают зубы. А мужчина приоткрыл рот, и там, где на платформе она видела ровные желтоватые резцы, теперь темнели голые десны.

Данила забился в угол салона и смотрел оттуда круглыми глазами.

– Это что? – спросил он. – Вера Андреевна, это что такое?

– Мешок Амбу готовь.

– Он же... Он же был...

– Данила! Мешок!

На мониторе зубцы пошли вразнос. Пауза. Еще пауза. Старик – теперь это был старик, древний, каких она встречала разве что в хосписе, вдруг открыл глаза. Глаза затянуло белесой мутью, зрачков почти не видно, и все-таки он смотрел на нее. Губы шевельнулись.

Вера наклонилась.

– Спасибо, – выдохнул он. Совсем тихо, но она расслышала. – Спасибо, дочка.

И монитор запищал на одной ноте.

Они качали его двадцать шесть минут, сначала в машине, потом на каталке в приемном, пока дежурный реаниматолог не положил ей руку на плечо. Под ладонями у нее хрустели ребра, тонкие и ломкие, как прутики. Она это запомнила. И еще запомнила, как реаниматолог, глянув на тело, спросил с раздражением:

– Вы зачем его реанимировали вообще? Ему лет сто. Вам заняться нечем?

– На вызове был мужчина шестидесяти лет, – ответила Вера.

Реаниматолог посмотрел на нее, потом на Данилу, потом

опять на нее. Ничего не сказал. Пожал плечами и ушел писать протокол.

Документы нашлись во внутреннем кармане пиджака, завернутые в носовой платок: паспорт старого образца, потерянный на сгибах, и пенсионное удостоверение. Вера раскрыла паспорт. Долгов Петр Савватеевич. Место рождения – деревня Долгое Усть-Лихвинского района. Год рождения – тысяча девятьсот двадцать седьмой.

– Девяносто восемь, – сказал у нее за плечом Данила. Голос у него дрожал. – Вера Андреевна. А мы шестьдесят передавали.

Она ему не ответила. Стояла в коридоре приемного отделения под гудящей лампой, держала чужой паспорт и думала о том, что с фотографии, вклеенной, судя по дате, двадцать два года назад, на нее смотрит тот самый крепкий мужик с платформы. Русский с проседью. Ни на день не моложе и не старше.

* * *

Видео выложили к обеду.

Парень в наушниках оказался не ленивый. Он смонтировал ролик секунд на сорок и отправил в городской паблик, тот самый, где обычно обсуждают ямы на дорогах и потерявшихся собак. Назвал незатейливо: «Скорая раздела и убила дедушку на вокзале». В кадре Вера со спины наклонялась над лежащим человеком, блестели ножницы, потом шла склейка, и вот уже каталку закатывают в машину, а из-под

простыни свисает рука. Старческая рука, в пятнах. Лица на первых кадрах было не разобрать из-за темноты, и получалось, что на платформе с самого начала лежал дряхлый старик, с которого медики для чего-то срезали одежду.

К вечеру под роликом набралось восемьсот комментариев. Вера прочитала первые двадцать и больше читать не стала. Ей хватило слова «живодерка» и предложения проверить, не пропало ли у бабушки чего из чемодана.

На подстанцию ее вызвали через два дня. Заведующая, Эльвира Маратовна, женщина крупная и тихая, из тех, кто повышает голос раз в год и запоминается этим надолго, сидела за столом и перекладывала бумаги. На Веру она не глядела.

– Садись.

– Постою.

– Сядь, Ладыгина, не доводи.

Вера села.

– Значит, так, – Эльвира Маратовна наконец подняла глаза. – Жалоба ушла в министерство. Не от родственников, родственников у него, похоже, нет. От равнодушных граждан. Коллективная. Семьдесят подписей.

– Они его в глаза не видели.

– Они видели ролик. Дальше. Карта вызова. Ты пишешь: мужчина, на вид шестьдесят лет, сознание спутанное, гемодинамика стабильная. Через одиннадцать минут ты же пишешь: клиническая смерть. А в приемном регистрируют

мужчину девяноста восьми лет в состоянии старческого истощения. Девяноста восьми, Вера. Ты как это объяснишь?

– Никак.

– Вот и я никак. А объяснять придется.

– Спросите Данилу. Спросите сержанта, который вызывал. Он на платформе выглядел на шестьдесят. Он со мной разговаривал, он меня за руку схватил так, что синяк остался, – Вера оттянула рукав. Синяк и вправду был, четыре синих пятна в ряд и пятое отдельно. – Девяностовосьмилетние так не хватают.

– Данилу я спрашивала. Данила твой плачет и говорит, что дедушка состарился в машине. Я его после этих слов отправила к психологу и попросила больше никому такого не рассказывать. Сержант дал объяснение, что гражданин был пожилой. Сколько именно лет, он в темноте не разглядел.

– Врет.

– Может, и врет. Ему тоже не надо, чтобы на него пальцем показывали, – Заведующая вздохнула. – И пояс. Зачем ты его резала?

– Он был перетянут. Борозда странгуляционная, сантиметра четыре. Мне нужно было исключить абдоминальную катастрофу.

– В заключении патологоанатома никакой борозды нет.

Вера открыла рот и закрыла.

– Как это нет?

– А вот так. Кожные покровы чистые. Причина смерти –

острая сердечно-сосудистая недостаточность на фоне старческой астении. Проще говоря, от старости. Претензий к объему помощи эксперт не имеет. Но это эксперт. А у министерства есть ролик, жалоба и карта вызова, в которой написана чушь, — она пододвинула к Вере чистый лист. — Пиши по собственному. Сегодняшним числом.

— Нет.

— Ладыгина.

— Я ничего не нарушила. Пусть проводят служебную.

— Проведут, — сказала Эльвира Маратовна устало. — И выяснят, что фельдшер с пятнадцатилетним стажем не сумела на глаз отличить шестьдесят лет от девяноста восьми. Знаешь, что тебе напишут? Не «убила». Напишут «некомпетентна». И с такой формулировкой ты потом и в поликлинику уколы ставить не устроишься. А уйдешь сама — я дам характеристику. Хорошую. Ты хороший фельдшер, Вера, я против тебя ничего не имею. Но мне этот ролик уже из горздрава три раза присылали.

Вера долго смотрела на чистый лист. Потом взяла ручку.

Пока писала, думала почему-то не о работе и не о деньгах. Она думала о том, что он сказал «спасибо». Люди перед смертью говорят разное: зовут мать, ругаются, просят пить, спрашивают, исключен ли утюг. За пятнадцать лет она наслушалась. Но чтобы человек благодарил за то, что умирает, — такого ей не попадалось.

* * *

Домой она пришла в четвертом часу дня. На двери квартиры опять висел листок, приклеенный скотчем. «Ладыгин О. В., верни долг! Соседи, в вашем подъезде живет должник». Вера сорвала его, скомкала и сунула в карман. Листки появлялись через день.

В квартире пахло горелым. На кухне, забравшись с ногами на табуретку, сидела Соня и ела прямо со сковороды нечто черное по краям.

– Это сырники, – сказала она, не оборачиваясь. – Если что.

– Я поняла.

– Они внутри нормальные. Будешь?

– Буду.

Соне в июле исполнилось четырнадцать. За последний год она вытянулась, обогнала мать на полголовы и приобрела манеру разговаривать так, будто каждое слово стоит денег. Волосы у нее были Олеговы – густые, темно-каштановые, до лопаток, предмет ее отчаянной гордости и вечных Вериных напоминаний про сток в ванной. Все остальное, по общему мнению, досталось ей от матери: острый подбородок, привычка шуриться и неумение вовремя промолчать.

– Ты чего так рано? – спросила Соня. – У тебя же сутки.

– Отгул дали.

– С чего это?

– Переработка накопилась.

Соня повернулась и посмотрела на нее. Долго. Вера вы-

держала этот взгляд, наливая себе чай, и подумала, что врать собственному ребенку с каждым годом становится труднее. Не потому, что стыдно. Потому что ребенок умнеет.

– Мам, я видела ролик.

Чай плеснул на клеенку.

– Какой ролик?

– Ну, мам. Его все видели. Мне Кристина Жаркова скинула, с подписью «Это не твоя мама?». И смайлик, – Соня ковырнула вилкой сырник. – Я написала, что не моя. Что у меня мама в поликлинике работает.

– Зачем ты так написала?

– А что я должна была написать? «Да, это она, только она никого не убивала»? Они бы все равно не поверили, – она помолчала. – Ты же не убивала?

– Нет.

– А почему он умер?

– Он был очень старый, Сонь. Девяносто восемь лет. Приехал откуда-то из деревни, один, ночью. Сердце не выдержало.

– А зачем ты его раздевала?

– Я его не раздевала, я его осматривала. Это разные вещи.

– В комментариях пишут...

– Я знаю, что пишут в комментариях, – Вера вытерла лужу на клеенке. – Не читай.

– Легко сказать.

Они помолчали. Вера думала, что надо бы сказать про

увольнение. Что сказать все равно придется, не сегодня, так через неделю, когда выяснится, что мать никуда по утрам не уходит. И что лучше бы Соне услышать это от нее, а не от Кристины Жарковой со смайликом. Она уже набрала воздуха.

– Отпуск мне дали, – сказала она вместо этого. – Длинный. Пока все не уляжется.

– Оплачиваемый?

– Конечно.

Соня кивнула и отвернулась к сковороде. Поверила или нет, понять было нельзя.

* * *

Форменную куртку Вера принесла домой в пакете. Сдавать ее полагалось чистой, и вечером, загружая стиральную машину, она привычно обшарила карманы. Ручка. Жгут. Пустой блистер от анальгина. Чек с заправки, непонятно как туда попавший. И что-то шершавое на самом дне.

Она вытащила серый обрезок длиной с ладонь и не сразу сообразила, что это такое.

Под кухонной лампой пояс выглядел иначе, чем на платформе. Там он показался ей просто серым. Теперь стало видно, что серый он не весь. Основа была из грубой шерстяной нити, а поперек, плотно, одна к одной, шли нитки потоньше и разного цвета. Темные. Рыжеватые. Светлые, почти белые. Пепельные. Вера поднесла обрезок ближе к глазам и потерла срез между пальцами. Нитки распушились.

Это была не шерсть.

За пятнадцать лет на скорой она навидалась человеческих волос во всех видах — слипшихся от крови, опаленных, вырванных с корнем, и ни с чем бы их не спутала. Вот длинный, темный, чуть волнистый, явно женский. Вот короткий жесткий, рыжий, с сединой у корня. А вот этот, тоненький, льняной, мягкий как пух, мог принадлежать только ребенку. Года три, не больше. Вера знала, какие у трехлетних волосы. У Сони в три года были точно такие же, пока не потемнели.

Волос было много. Сотни. Может, тысячи, если считать весь пояс, а не один обрезок. Их не просто вплели, их сперва спряли в нить, тонкую, ровную, и уже потом пустили в уток. Кто-то сидел над этим часами. Собирал. Сортировал. Сучил.

Она разжала пальцы, и обрезок упал на стол.

«Секта, — подумала Вера. Мысль была простая и трезвая, и за нее хотелось держаться. Какие-нибудь старообрядцы или еще похуже. Мало ли в глуши чудиков. Носят вериги из волос покойных родственников. А он сбежал. Потому и озирался на платформе, потому и сказал: доехал».

Объяснение было хорошее. Оно объясняло пояс. Оно не объясняло только того, что случилось в машине, но об этом Вера приказала себе не думать. Она выбросила обрезок в мусорное ведро, под картофельные очистки, вымыла руки с хозяйственным мылом, дважды, и легла спать.

* * *

Звонок раздался через одиннадцать дней.

За эти одиннадцать дней она разослала резюме в шесть частных клиник и в две государственные поликлиники. Из клиник не ответили. В поликлинике на Заводской обещали перезвонить, а на другой день кадровичка, пряча глаза, сказала, что ставку сократили.

Банк прислал уведомление о просрочке. Коллекторы звонили теперь не только ей, но и на городской телефон, которым никто не пользовался лет десять. Трубку однажды сняла Соня. О чем с ней говорили, она не рассказала, только ходила потом два дня с белыми губами и на вопросы отвечала: «Нормально все».

Номер был незнакомый, с кодом, которого Вера не знала. Она хотела сбросить – и не сбросила.

– Вера Андреевна Ладыгина? – голос был женский, сучоватый, не молодой и не старый. Таким голосом говорят в учреждениях, где на двери висит табличка с часами приема. – Добрый день. Вас беспокоит администрация Усть-Лихвинского района. Кривцова Таисия Ильинична, заместитель главы по социальным вопросам.

– Слушаю.

– Ваши данные нам передали в областном министерстве. У нас открыта вакансия по программе «Земский фельдшер». Вам знакома эта программа?

Вера была знакома. Про нее на подстанции говорили с усмешкой: миллион дают, да только за этот миллион надо пять лет просидеть в такой дыре, откуда и волки ушли.

– В общих чертах.

– Тогда я сразу по существу. Единовременная выплата – один миллион рублей, перечисляется в течение тридцати дней после заключения договора. Служебное жилье, половина дома, с печным отоплением, но дрова за счет района. Оклад плюс сельские. Обязательство отработать пять лет. Фельдшерско-акушерский пункт в деревне Долгое.

Вера не сразу поняла, отчего у нее похолодели пальцы. Потом поняла.

«Место рождения – деревня Долгое Усть-Лихвинского района».

– Простите, как вы сказали? Долгое?

– Долгое. Тридцать восемь километров от райцентра. Автобус дважды в неделю. – На том конце помолчали, – вам знакомо это название?

– Нет, – соврала Вера. – Первый раз слышу. А сколько там населения?

– Девятнадцать человек.

– И на девятнадцать человек вы держите ФАП*?

– Держим, – в голосе Таисии Ильиничны ничего не изменилось. – Контингент у нас там особый, Вера Андреевна. Возрастной. Младшей жительнице шестьдесят восемь, остальным крепко за восемьдесят. Долгожители. Сами понимаете, такие люди без медицинского присмотра оставаться не могут. Прежний фельдшер у нас, к сожалению, выбыл пять лет назад, и с тех пор мы никого не можем найти. Мо-

лодежь не едет.

— А почему вы звоните именно мне?

— Потому что вы опытный специалист со стажем на скорой. Потому что в настоящий момент вы, насколько мне известно, не трудоустроены, — пауза. — И потому что в Долгом вас очень ждут.

— Меня?

— Фельдшера, — поправилась Кривцова. — Ждут фельдшера. Старики уже и дом протопили, и побелили. Они у нас гостеприимные. Вы подумайте, Вера Андреевна. Дочку вашу можно оформить на семейное обучение, в деревне есть учительница на пенсии, она с удовольствием поможет. Воздух, озеро, грибы. Ребенку полезно.

Про дочку Вера ей ничего не говорила.

Она хотела спросить, откуда в районной администрации знают про Соню. И про то, что она не трудоустроена. И не странно ли, что ей звонят из района, где родился человек, умерший у нее на руках две недели назад. Вопросов было много, и все они были правильные.

Но был еще миллион. Он стоял перед глазами круглой цифрой с шестью нулями, и против этой цифры все правильные вопросы выглядели бледно. Миллион закрывал две трети Олегова долга. Миллион означал, что на двери перестанут появляться листки, а Соня перестанет ходить с белыми губами. И город, в котором каждый второй видел ролик, останется где-то за лесами, в тридцати восьми километрах от бли-

жайшего райцентра.

«Совпадение, – сказала себе Вера. – Он оттуда приехал, потому и попал ко мне, а не к кому-то еще. В области таких районов двадцать, в каждом по три вакансии, вот и вся мистика. А данные им дали в министерстве, там теперь про меня все знают».

– Я подумаю, – сказала она.

– Подумайте. Только недолго, — и Таисия Ильинична, уже прощаясь, добавила тем же ровным учрежденческим голосом: – У нас там осень ранняя. К Покрову, бывает, уже и снег ложится. Хорошо бы вам успеть до снега.

Вера положила телефон на стол экраном вниз и какое-то время сидела не двигаясь. Потом пошла на кухню ставить чайник.

Соня делала уроки, пристроив учебник между хлебницей и сахарницей. В своей комнате она заниматься не любила, говорила, что там «давят стены». Левой рукой она подпирала щеку, правой писала, и на запястье правой руки, поверх манжеты домашней толстовки, было что-то намотано в два оборота и завязано узелком.

Серое. С темными и светлыми прожилками.

– Это что у тебя? – спросила Вера, и собственный голос показался ей чужим.

– А? – Соня глянула на руку. – А, это. Фенечка. Я в ведре нашла, когда мусор выносила. Ты чего такие вещи выкидываешь? Это же ручная работа, сейчас такое в тренде, этника

всякая. Я ее постирала.

– Сними.

– Почему?

– Сними, я сказала. Она грязная. Она с вызова.

– Мам, я же говорю: постирала. С шампунем, – Соня повертела запястьем, любуясь. – Смотри, как села. Как будто на меня мерили.

Вера шагнула к ней, взяла за руку и попыталась поддеть узелок. Узелок был маленький, тугой, и ногти у нее соскальзывали. Она потянула сильнее.

– Ай! Больно же!

– Потерпи.

– Да что с тобой такое?! – Соня выдернула руку и отодвинулась вместе с табуреткой. Глаза у нее стали злые и мокрые. – Нормальная фенечка! Ты из-за всего теперь будешь психовать? Из-за ролика психуешь, из-за звонков психуешь, теперь из-за веревочки? Я, между прочим, тоже человек! У меня тоже может быть что-то свое!

Она схватила учебник и ушла к себе. Хлопнула дверь.

Вера осталась стоять посреди кухни. Чайник закипел и отключился. В наступившей тишине она слышала, как за стенкой Соня шмыгает носом и что-то сердито бормочет, должно быть, наговаривает голосовое сообщение подружке.

«Обычный обрезок, – подумала Вера. Тряпка. Волосы – это просто кератин, они сто лет лежат и ничего им не делается. Отрежу ночью, когда уснет».

Ночью она вошла к дочери с маникюрными ножницами. Соня спала на боку, выпростав руку из-под одеяла. Вера присела на край кровати, подсунула лезвие под серую полоску и сжала.

Ножницы не взяли.

* ФАП — фельдшерско-акушерский пункт

Глава 2. «Дареному коню в зубы не смотрят»

Районная администрация в Усть-Лихве помещалась в двухэтажном кирпичном здании, крашенном в цвет какао. Перед крыльцом стоял гипсовый Ленин, маленький, по плечо взрослому человеку, с отбитым и заново приделанным носом. На голове у вождя сидела ворона и чистила перья. Соня сфотографировала ее на телефон, подумала и сфотографировала еще раз, уже вместе с матерью, которая в это время пыталась одной рукой удержать два чемодана, а другой – отыскать в сумке паспорт.

– Мам, улыбнись. Это для истории. «Последний день цивилизации».

– Сонь, не сейчас.

– А когда? Потом связи не будет, я читала. Там даже на картах серое пятно.

Ехали они сюда почти сутки: сначала ночным поездом, тем самым, усть-лихвинским, который обратным рейсом привез в город Петра Долгова, потом от станции на такси, потому что автобус от станции до поселка ходил по расписанию, известному одному водителю. Вера за всю дорогу спала часа два. Остальное время она лежала на верхней полке, смотрела в потолок и раз в полчаса свешивалась посмотреть

на дочь. Соня спала на нижней, подложив правую руку под щеку. Серая полоска на запястье никуда не делась.

За эти десять дней Вера перепробовала все. Маникюрные ножницы, кухонные, свои рабочие, с тупым концом. Канцелярский нож. Один раз, дождавшись, пока Соня уйдет в душ и оставит руку поверх шторы, попыталась поддеть узелок иглой. Игла согнулась. Ткань пружинила, скользила и не давалась, а Соня после того случая стала запирается в ванной на задвижку и сказала, что если мать еще раз подойдет к ней с острым предметом, она напишет на горячую линию для подростков.

Говорила она это вроде бы в шутку. Вера решила пока отступить. В конце концов, рука под обрезком была розовая, теплая, никакой борозды, никакого отека. Обыкновенная тряпочка на запястье. У половины Сониных одноклассниц на руках болталось и не такое.

Таисия Ильинична Кривцова приняла их в кабинете на втором этаже. Она оказалась под стать своему голосу: высокая, сухая, очень прямая, в сером костюме и с серой же гладкой прической, до того тугой, что кожа на висках казалась натянутой. Лет ей могло быть и пятьдесят, и семьдесят. Она поднялась навстречу, но руки не подала, а указала на стулья.

– Доехали. Вот и славно. Как дорога?

– Спасибо, нормально.

– Чаю не предлагаю, автобус у вас через сорок минут, а бумаг много. Садитесь, Вера Андреевна. И ты, девочка, са-

дись.

Соня села и уставилась на хозяйку кабинета с тем беззащитным любопытством, с каким дети разглядывают людей в инвалидных колясках. Вера проследила за ее взглядом и поняла, в чем дело. Левый глаз у Таисии Ильиничны не двигался. Правый смотрел живо, цепко, перебегал с лица на лицо, с бумаг на окно. Левый стоял неподвижно, светлый, чуть светлее правого, и глядел прямо перед собой, куда бы ни поворачивалась голова. Он и не моргал.

«Протез, – определила Вера. – Стекланный, старого образца, сейчас делают получше». И незаметно пихнула дочь коленом.

Договор был на шести страницах. Вера прочла его весь, от шапки до реквизитов, хотя Кривцова дважды посмотрела на часы. Выплата, жилье, оклад, обязательство отработать пять лет, в случае досрочного расторжения – возврат пропорционально неотработанному времени. Ничего сверх того, что обещали по телефону. Она потянулась за ручкой, которая лежала на столе поверх бумаг, но в последний момент передумала и достала из сумки свою. Привычка со скорой: чужих ручек она в руки не брала с тех пор, как один диспетчер перезаражал чесоткой полподстанции.

Ей показалось, что неподвижный глаз Таисии Ильиничны в эту секунду чуть сощурился. Но показалось, конечно. Стекланные глаза не щурятся.

– Аккуратная вы, – сказала Кривцова. – Это хорошо. В

Долгом аккуратных любят.

Чтобы листы не разлетались от сквозняка, она придавила их какой-то деревяшкой. Вера, подписывая последнюю страницу, мельком на нее глянула. Плоская палочка длиной с карандаш, темная, затертая до блеска, и на ребре пять глубоких зарубок, сделанных ножом. Сувенир, должно быть. Или линейка какая-нибудь старинная, из тех, что хранят в краеведческих музеях.

— Ну вот, — сказала Таисия Ильинична, собирая экземпляры. — Теперь вы наша. Деньги придут в течение месяца. Автостанция через дорогу, автобус синий, водителя зовут Валерий. Он вас довезет до самого места. И, Вера Андреевна... — она помедлила. — Старики там с характером. Привыкли по-своему жить. Вы уж с ними не воюйте. Угощать станут — не отказывайтесь, обидятся. Они от чистого сердца.

— Я учту.

— Вот и учтите.

* * *

Синий ПАЗик стоял на площадке за автостанцией, и его можно было узнать издалека по надписи, выведенной на борту масляной краской: «Восток-1». Буквы были красные, старательные, с подтеками. Водитель, плотный дядька лет пятидесяти в тельняшке и в кепке блином, курил у передней двери и на чемоданы посмотрел без одобрения.

— В Долгое? — спросил он вместо приветствия.

— В Долгое.

– Фельдшерица, значит. Ну-ну, – он затоптал окурки. – Ба-
рахло в салон кидайте, багажника у меня нету. Валера. Мож-
но Космонавт, все так зовут.

– А почему Космонавт? – тут же спросила Соня.

– А потому что в семьдесят девятом году мальчик Вале-
ра написал письмо в отряд космонавтов. Просил зачислить.
Ответ пришел на адрес школы, зачитали на линейке. С тех
пор и летаю, – он похлопал автобус по боку. – Садитесь, по-
ехали. Мне еще засветло назад обернуться.

Кроме них, пассажиров не было. Вера села у окна, Соня
устроилась через проход, вытянув ноги на соседнее сиденье,
и воткнула наушники. ПАЗик зарычал, затрясся и покати-
л по главной улице мимо почты, мимо магазина «Товары для
дома», мимо длинного забора больницы, за которым желте-
ли березы. Потом дома кончились, началось поле, а за полем
встал лес.

Вера никогда не видела такого леса. Она выросла в городе,
и лес для нее был чем-то вроде большого парка, куда ездят за
грибами на электричке. Здесь ели стояли вплотную к дороге,
темные, в седых лишайниках до самых макушек, и гравийка
шла между ними, как по дну канавы. Солнце, с утра яркое,
сюда не доставало. Километров через пять Валера включил
фары.

– Лихолесье, – сказал он, не оборачиваясь. – Отсюда и до
самого севера. Говорят, если идти прямо и не сворачивать,
через месяц выйдешь к морю. Только не выходил никто.

– А ходили?

– Ходили. В шестидесятых тут леспромхоз хотели ставить, просеку били. Бросили, – он переключил передачу, мотор взвыл. – Тут много чего бросили.

Соня выдернула один наушник.

– Мам, сеть пропала. Все. Одна палка была – и нету.

– Я предупреждала.

– Ты говорила «плохая связь», а не «никакой связи». Это разные вещи. Как я буду блог вести?

– Там бугор есть за кладбищем, – подал голос Валера. – Связной называется. На нем ловит. Не всегда, но ловит. Старики туда как на работу ходят, дед Савелий – тот вообще каждый день. У него этот... как его... канал.

– Какой канал? – не поняла Вера.

– В телефоне. Он там на гармошке играет и про жизнь рассуждает. Две тыщи подписчиков, между прочим.

– А сколько ему лет? – спросила Соня.

– Савелию-то? Девяносто девять. В январе сто стукнет.

Соня присвистнула и посмотрела на мать. Вера пожала плечами. Про долгожителей она была предупреждена.

Гравий сменился грунтовкой, и автобус пошел медленнее, переваливаясь на корнях. Дважды переезжали по бревенчатым мосткам через ручьи с черной торфяной водой. Потом лес слева расступился, блеснуло что-то узкое, длинное, свинцовое – озеро, – и Валера сбросил скорость до пешеходной. У дороги стоял столб. Обыкновенный деревянный столб в

рост человека, серый от старости, и на нем, на уровне груди, было навязано тряпичных лент, выцветших до одного цвета.

– Межа, – сказал Валера. – Дальше ихняя земля.

Он произнес это буднично, но Вера заметила, что перед столбом он быстро, почти украдкой, тронул пальцами что-то под тельняшкой. Крестик, наверное.

В ту же секунду Соня охнула.

– Что? – Вера рывком повернулась к ней.

– Ничего, – дочь растерянно терла запястье. – Нагрелась. Фенечка. Как будто к батарее приложили. И прошло.

– Покажи.

– Да нормально все, мам! Не начинай, – Соня натянула рукав до пальцев и отвернулась к окну. Через минуту добавила другим голосом, удивленным: – А тут красиво. Смотри, какие дома. Как на открытке. Странно, я думала, будет страшная дыра, а тут как будто... ну, как будто я здесь уже была.

Вера ничего не ответила. Она смотрела на водителя. Валера остановил автобус метрах в ста от крайней избы, посреди дороги, двигатель глушить не стал и дверь открыл, не вставая с места.

– Дальше ножками, – сказал он. – Тут недалеко.

– А до дома довести?

– Мне разворачиваться негде.

Развернуться было где: дорога перед деревней расширялась в утоптанную площадку, на которой свободно разъезжа-

лись бы два таких автобуса. Вера посмотрела на площадку, потом на Валеру. Тот глядел в лобовое стекло.

– Вы всегда тут останавливаетесь?

– Всегда.

– Почему?

Он помолчал, пожевал губами. Потом все-таки обернулся, и Вера увидела, что глаза у него совсем не веселые.

– Ты, фельдшерица, баба, я гляжу, неглупая. Дам тебе совет, а ты хочешь слушай, хочешь нет. Я сюда двадцать два года езжу. Продукты Тоньке в лавку вожу, пенсию вожу, почту. И за двадцать два года я у них стакана воды не выпил. Даже из автобуса не выхожу, они сами подходят. Люди они хорошие, ласковые, слова худого не скажу. А только ты у них ничего не бери. В долг не бери.

– Я и не собираюсь занимать, – сказала Вера. – У меня свои деньги есть.

– Я не про деньги.

– А про что?

Валера открыл рот, закрыл и махнул рукой.

– Да ну, – сказал он с досадой. – Все равно не поверишь. До тебя тоже не верили. Вылезайте, мне ехать надо. В пятницу буду, если что передать – к дороге выходи.

Они выгрузили чемоданы на обочину. ПАЗик сдал назад, развернулся на той самой площадке, где разворачиваться было негде, и ушел за поворот. Сделалось очень тихо. Потом в этой тишине заиграла гармонь.

* * *

Встречать их вышла вся деревня.

Вера сначала увидела только цветные пятна в конце улицы, потом пятна приблизились и оказались людьми. Впереди шел высокий старик в пиджаке с орденскими планками и растягивал меха, выводя что-то плясовое. За ним, по двое и по трое, двигались остальные: женщины в платках и ярких кофтах, мужчины в начищенных сапогах. В центре несли на вышитом полотенце каравай.

– Офигеть, – сказала Соня шепотом и подняла телефон. – Мам, это реально как в кино. Это вообще законно?

Вера считала. Восемнадцать человек. Пришли, кажется, все, кто мог ходить. И ходили они хорошо. Никто не шаркал, не опирался на палку, не останавливался перевести дух. Гармонист притопывал. Две старухи с краю, одинаково круглые, пересмеивались и толкали друг дружку локтями. Вера искала глазами то, что привыкла видеть у людей под девяносто и за девяносто: трясущиеся головы, отечные ноги, синюшные губы, согнутые спины. Не находила. Перед ней были крепкие, румяные деревенские пенсионеры лет шестидесяти пяти, от силы семидесяти. В поликлинике таких записывают в группу здоровья и ставят в пример.

«Вот так же и он выглядел, – подумала она. – На платформе».

Мысль была неприятная. Вера ее отогнала.

Каравай несла небольшая полная старушка в белом пла-

точке, повязанном по-девичьи, под подбородок. Лицо у нее было круглое, мягкое, все в мелких морщинках, как печеное яблоко, а глаза – голубые и до того ясные, что хотелось улыбнуться в ответ, еще не услышав ни слова. Она остановилась в двух шагах и поклонилась, низко, в пояс, не выпуская полотенца.

– Здравствуйте, гости дорогие! Заждались мы вас. Уж так заждались! Я Аграфена Тимофеевна, а зовите бабой Груней, меня все так зовут. Не побрезгуйте хлебом-солью. Сама пекла, с ночи тесто ставила.

От каравая шел такой дух, что у Веры свело желудок. Она с утра ничего не ела, кроме вокзального кофе. Корка была темно-золотая, блестящая, в середине стояла деревянная солонка. Полагалось, она знала, отломить кусок, макнуть в соль и съесть.

«Угощать станут – не отказывайтесь».

«Ты у них ничего не бери».

Дело было, разумеется, не в словах водителя. Мало ли что болтает человек, который в детстве просился в космонавты. Дело было в ней самой. За последние полгода Вера выработала для себя закон, простой, как устав караульной службы: ничего не брать даром. Ни у кого. За все платить, и платить сразу. Этому ее научил Олег, который двенадцать лет брал у всех подряд – у нее, у ее покойной матери, у друзей, у банков, – и каждый раз искренне собирался вернуть. Она слишком хорошо знала, чем кончается «да что ты, свои люди, со-

четомся». Кончается оно листком на двери.

А тут ей, незнакомому человеку, выносят хлеб, над которым кто-то хлопотал с ночи. Протопили дом. Побелили. И ведь не откупишься: не станешь же совать бабушке за каравай двести рублей.

– Спасибо вам большое, – сказала она. – Очень красиво. Только вы меня простите, Аграфена Тимофеевна, меня в дороге укачало. Я сейчас ничего не могу, даже воду. Попозже, ладно?

Гармонь смолкла на полутакте.

Тишина длилась секунду, не больше. Но за эту секунду Вера успела увидеть, как у бабы Груни дрогнули на полотенце пальцы и как высокий гармонист быстро глянул на женщину в очках, стоявшую с ним рядом, а та едва заметно качнула головой. Потом баба Груня улыбнулась еще шире.

– Да что ты, милая, что ты! Какие прощенья! Укачало – дело житейское, у нас дорога-то вон какая, все кишки вытрясет. Отдохнешь, тогда и покушаешь. А ты, красавица? – Она повернулась к Соне. – Тебя-то не укачало?

– Меня нет, – сказала Соня. – Я вообще с утра голодная. А можно?

– Нужно!

Соня сунула телефон в карман, отломил от каравая кусок с поджаристой коркой, ткнула в солонку и откусила. Глаза у нее закрылись.

– М-м-м! Мам, ты дура, что отказалась. Он теплый еще!

Спасибо!

– На здоровье, дитяtko, – сказала баба Груня, и голос у нее сделался совсем медовый. – На доброе здоровье.

По толпе прошел вздох, тихий, общий, как будто восемнадцать человек одновременно выдохнули. Гармонь заиграла снова. Старухи заговорили все разом: какая большая, какая ладная, коса-то, коса какая, чисто шелк, а глазки мамины, а худенькая, ничего, откормим. Соню обступили, гладили по плечам, заглядывали в лицо. Она смеялась, жевала и с набитым ртом отвечала, что зовут ее Соня, лет ей четырнадцать, а коса своя, не наращенная.

И тут баба Груня, поправляя ей выбившуюся прядь, опустила взгляд на Сонину руку.

Вера стояла близко и видела все. Круглое румяное лицо в одно мгновение сделалось серым. Не бледным, а именно серым, цвета печной золы. Губы разошлись. Баба Груня качнулась, и каравай поехал с полотенца. Его подхватила женщина в очках.

– Груня! Что с тобой?

– Ничего... Ничего, Зоя. Сердце. Кольнуло.

Вера уже держала ее за запястье. Пульс частил, сто двадцать, не меньше, но был ровный. Рука оказалась сухая, горячая и сильная, совсем не старушечья.

– Присядьте. Где у вас болит? За грудиной? В руку отдает?

– Нигде, милая, нигде не болит. Отпустило уже, – Баба Груня мягко, но настойчиво высвободила кисть. Смотрела

она не на Веру. Она смотрела на серую полоску у Сони на запястье, и в голубых глазах стояло что-то такое, чему Вера не сразу подобрала название. Потом подобрала. Так смотрят родственники, когда им выносят из реанимации вещи. – Откуда у тебя, дитятко, опоясочка этакая?

– Эта? – Соня подняла руку. – Нравится? Мне тоже. Я ее...

– В городе на ярмарке купили, – перебила Вера. – Сувенир.

Соня уставилась на мать. Вера ответила ей взглядом, который дочь знала с детства и который означал: «Молчи, потом объясню». Объяснить она не смогла бы и сама. Просто в ту секунду ей показалось очень важным, чтобы эти ласковые люди не слышали слов «скорая» и «мусорное ведро».

– На ярмарке, – повторила баба Груня. – Вон оно как. Ну, носи, дитятко. Хорошая вещь. Старинная работа, теперь так не ткут.

Она отвернулась, и женщина в очках повела ее под локоть в сторону. Вера услышала обрывок фразы, сказанной вполголоса: «...Петина. Я его руку из тысячи...» – и ответное: «Тише. После».

Гармонист уже стоял перед Верой, сняв картуз. Вблизи он оказался еще выше, с седым ежиком, с крупным носом и с веселыми, совершенно разбойничьими глазами.

– Савелий Кузьмич, – представился он. – Бывший председатель, ныне блогер. Ты на Груню не гляди, она у нас чув-

ствительная. Давай-ка чемоданы, фельдшерица. Не бойсь, не надорвусь. Я в твои годы мешки с зерном по два зараз таскал, а с тех пор только здоровей стал.

И он, девяностодевятилетний, подхватил оба чемодана, как пустые, и зашагал вперед.

* * *

Фельдшерский пункт стоял посреди деревни, на пригорке. Это был длинный бревенчатый дом под шифером, разделенный надвое: слева крыльцо с красным крестом на двери, справа – жилое. Наличники сияли свежей голубой краской. В палисаднике доцветали золотые шары.

Внутри было тепло и пахло известкой, сухой травой и печеным. Печь занимала чуть не треть комнаты и была выбелена до синевы. На окнах висели занавески с вышивкой, на полу лежали полосатые половики, на кроватях – их было две, железных, с шишечками, – громоздились подушки под кружевными накидками. Вера ожидала увидеть казенную нищету, панцирную сетку и тумбочку с инвентарным номером. А увидела дом, в котором словно кто-то жил и только что вышел.

Но главным был стол.

Он стоял у окна, накрытый скатертью, и на нем не осталось свободного места. Пироги на блюде, прикрытые полотенцем. Миска с творогом. Глиняная крынка, запотевшая, с молоком. Банки: варенье малиновое, варенье черничное, грибы соленые, огурцы. Мед в туюске из бересты. Десяток

яиц в лукошке. Горка румяных шанег. Отдельно, на лавке, лежало неуместное: две пары толстых шерстяных носков, серых с красной каймой, варежки, вышитое полотенце и свернутый кольцом тканый пояс, тоже красный с серым. Поверх пояса – деревянный гребень, резной, с частыми зубьями, потемневший от времени.

– Это вам от всех понемножку, – сказала Зоя Петровна, та самая женщина в очках. Она вошла следом и встала у двери, сложив руки под грудью. Говорила она правильно, по-городскому, учительским голосом. – На обзаведение. Носочки баба Капа вязала, поясок Груня ткала, гребень от Лукерьи, она сама прийти не смогла, хворает. Гребень девочке. При такой косе без хорошего гребня нельзя, пластмассовые только секут волос.

– Зоя Петровна, это слишком, – Вера и вправду растерялась. – Мы не можем столько принять. Давайте я хотя бы заплачу. За продукты. Сколько это стоит?

– Вера Андреевна, – учительница посмотрела на нее поверх очков. – У нас за угощение не платят. Вы людей обидите.

– Тогда я не знаю... Я в долгу быть не люблю.

– А кто говорит про долг? – Зоя Петровна улыбнулась одними губами. – Дареное не долг. Берите и пользуйтесь. Дареному коню, как говорится, в зубы не смотрят.

Она вышла. Вера постояла над столом, чувствуя себя глупо. От пирогов пахло капустой и яйцом. Желудок опять на-

помнил о себе.

– Мам, – Соня уже держала в руке шаньгу. – Только не говори, что мы это все выкинем.

– Никто ничего не выкинет. Просто я хочу сначала...

– Что? Сдать на анализ? Мам, это бабушки. Обычные деревенские бабушки. Они пирогов напекли, потому что им скучно и к ним сто лет никто не приезжал. Ты можешь хоть раз в жизни просто взять и сказать «спасибо»?

– Я сказала спасибо.

– Ты сказала «сколько это стоит», – Соня откусила полшаньги. – Ты всегда так. Тебе тетя Лена на день рождения шарф подарила, ты ей на следующий день деньги перевела. Она потом плакала, между прочим.

– Тетя Лена не плакала.

– Плакала. Мне ее Дашка рассказывала.

Вера промолчала. Возразить было нечего. Она достала из чемодана коробку конфет, купленную в городе как раз для такого случая, – большую, дорогую, с золотым тиснением, – и пошла на крыльцо. Не платить, так хоть отдариться.

Баба Груня сидела на лавочке у калитки, уже порозовевшая, и что-то говорила двум круглым старухам. Увидев Веру, заулыбалась.

– Аграфена Тимофеевна, это вам. От нас с Соней. К чаю.

Она протянула коробку. Баба Груня на коробку посмотрела с удовольствием, даже головой покачала: ишь, красота какая. А рук с колен не подняла.

– Ой, спасибо, милая, вот уважила! Ты ее на лавочку положи, вот сюда, рядышком. Руки-то у меня в муке, изгваздаю.

Руки у нее были чистые. Вера видела это совершенно отчетливо: сухие, розовые, с коротко остриженными ногтями. Она положила коробку на лавку. Баба Груня выждала, пока Вера уберет пальцы, и только тогда взяла подарок и прижала к груди.

– Вот теперь мое, – сказала она и засмеялась. – Старая привычка, не обессудь. У нас из рук в руки не берут. Примета такая.

– Какая примета?

– А кто ее знает. Бабки наши так делали, и мы так делаем.

«А сами-то подают из рук в руки», – подумала Вера, вспомнив каравай на полотенце. Но мысль была мелкая, и она за нее не зацепилась. Мало ли в деревнях примет. Через порог не здороваются, на ночь не метут, в понедельник не стирают.

До вечера она разбирала вещи и осматривала свое хозяйство. Туалет оказался во дворе, дощатый, с окошком-сердечком, и Соня, заглянув туда, вернулась с таким лицом, что Вера впервые за день рассмеялась. Вода была в колодце через дорогу. Электричество имелось, но розетка в жилой половине была одна, и Соня немедленно заняла ее зарядкой. Печь топилась, надо было только понять, как закрывать выюшку. Этого Вера не знала, и объяснять прибежала баба Капа, ма-

ленькая, быстрая, и за пять минут рассказала про выюшку, про то, кто в деревне с кем в ссоре, и про лесника, который пьет горькую и на людей кидается, так что вы, Вера Андреевна, с ним поосторожней.

Саму амбулаторию Вера оставила напоследок. Отперла дверь с красным крестом, щелкнула выключателем.

Кабинет был как кабинет: кушетка, стол, весы, шкаф со стеклянными дверцами. В шкафу стояли упаковки с бинтами, пузырьки, коробки с ампулами. Вера взяла одну наугад и посмотрела срок. Годен до марта две тысячи двадцать первого. Взяла другую – то же. Все лекарства в шкафу были просрочены на четыре года, и все упаковки были целые. Запечатанные. Прежний фельдшер, судя по всему, за время работы не вскрыл ни одной.

На столе лежал журнал приема. Она полистала. Записи кончались октябрём двадцатого года, почерк был женский, крупный, сначала ровный, а на последних страницах – ломаный, сползающий со строки. Жалоб в журнале значилось немного, и все от приезжих: дачник с ожогом, геодезист с клещом, какая-то Е. Шумилова, тридцать два года, – «общая слабость, боли в суставах, выпадение волос». Ни одной местной фамилии. За два с половиной года девятнадцать стариков не пришли в медпункт ни разу.

В углу, за ширмой, стоял платяной шкаф. Вера потянула дверцу, ожидая увидеть халаты. Халат там действительно висел, один, пожелтевший. А рядом с ним – женское паль-

то, темно-синее, драповое, с воротником из искусственного меха. Не новое, но хорошее. Такие вещи не забывают при переезде.

«Выбыл», – сказала про прежнего фельдшера Кривцова. Вера тогда решила: уволился.

Она сама не знала, зачем полезла в карман. Наверное, сработала та же привычка, что и с форменной курткой. В правом было пусто. В левом пальцы нащупали бумажку, сложенную вчетверо.

Это оказался рецептурный бланк с печатью Долговского ФАПа. Лекарств на нем выписано не было. Через весь листок, наискось, тем самым ломаным почерком, каким заканчивался журнал, шли три строчки. Писали с таким нажимом, что ручка в двух местах прорвала бумагу.

«НЕ БЛАГОДАРИ.

НЕ БЛАГОДАРИ.

НЕ БЛАГОДАРИ».

За стеной, в жилой половине, смеялась Соня. Кто-то из старух зашел ее проведать, и теперь там звякали чашки и слышался напевный голос бабы Груни:

– А вот мы косу-то твою расчешем, дитяtko. Дай-ка грешок. Ишь, спутались с дороги...

– Ой, спасибо, – отвечала Соня. – А то я сама не достаю.

Глава 3. «Здоровы будем»

Первую ночь на новом месте Вера спала плохо. Мешала тишина. В городе она привыкла засыпать под гул проспекта, под соседский телевизор, под хлопанье подъездной двери, а здесь не было слышно ничего, кроме собственного дыхания и редкого потрескивания остывающей печи. Под утро где-то далеко, за озером, завывала собака или не собака, и Вера, лежа с открытыми глазами, долго пыталась решить, водятся ли в этих краях волки. Потом все-таки уснула, а когда проснулась, в окна уже лезло солнце, на часах было половина девятого и Сонина кровать стояла пустая.

Одеяло было откинута, подушка смята. На лавке у стены лежал вчерашний гребень. Вера, проходя, машинально взяла его в руки. Вечером, когда она вернулась из амбулатории с бумажкой в кулаке, баба Груня уже ушла, а Соня сидела на кровати с распущенной косой, сонная и довольная, и гребень этот валялся рядом, весь в длинных каштановых волосах, застрявших между зубьями. Вера еще подумала тогда, что надо бы почистить. Сейчас зубья были чистые. Ни волоска.

«Сама сняла, – решила она. – Надо же, приучается». И положила гребень обратно.

Записку она перед сном перечитала раз десять. Вертела так и этак, смотрела на свет. Ничего нового не высмотрела. Три строчки, написанные больным человеком, и вывод

из них можно было сделать только один: прежний фельдшер к концу работы был, что называется, не в себе. Ломаный почерк в журнале говорил о том же. Тремор, спутанность, навязчивые идеи. Вера навидалась таких записок у одиноких стариков, которые пишут на обоях, что соседи пускают к ним газ через розетку. Женщине, правда, судя по пальто, до старости было далеко. Но деменция бывает и ранняя. А еще бывает алкоголь, особенно в деревне, особенно когда на девятнадцать пациентов ни одного вызова за два с лишним года.

Объяснение ее устроило. Почти. Бумажку она все же не выбросила, а убрала в паспорт, под обложку.

На столе под полотенцем стояло вчерашнее. Пирогов убыло, от шанег осталась одна, крынка с молоком была пуста наполовину. Вера достала из чемодана пачку гречки, привезенную из города, банку тушенки и кипятильник. Позавтракала, глядя в окно на улицу. Улица была пустая и чистая, как выметенная. Возле колодца важно ходил рыжий петух.

Соня нашлась через три дома. Она сидела на крыльце у бабы Груни, зажав между коленей клубок, и водила перед собой двумя спицами с таким сосредоточенным лицом, с каким обычно проходила уровни в телефонной игре. Баба Груня стояла над ней и поправляла петли.

– Мам, смотри! – Соня подняла спицы. На них висело нечто серое, сантиметров пять в ширину, кривое на один бок. – Я вяжу! Это будет шарф. Баба Груня говорит, у меня руки правильные.

– Золотые руки, – подтвердила баба Груня. – Сроду такой понятливой не видала. Я ей показала разок, а она уж сама. Доброе утречко, Вера Андреевна. Как спалось на новом месте? Не снился ли жених?

– Спасибо, хорошо. Соня, ты завтракала?

– Ага. Блинами. Со сметаной, – Соня снова уткнулась в вязание. – Мам, ты иди, я тут побуду. У меня петля убегает.

Вера постояла у калитки. Картина была мирная до приторности: бабушка, внучка, клубок, солнце на крыльце. Именно то, чего у Сони никогда не было. Верина мать умерла, когда девочке исполнилось два, а Олегова за четырнадцать лет видела внучку трижды и каждый раз забывала, в каком та классе. Соня про бабушек не спрашивала. Только в шесть лет однажды пришла из сада и сообщила, что у всех есть баба, которая вяжет носки, а у нее нет, и это нечестно.

– К обеду домой, – сказала Вера. – И телефон заряди, он у тебя наверняка сел.

– Угу.

– Ты ее не тереби, милая, – ласково сказала баба Груня. – Пускай дитя порадует. Я пригляжу.

* * *

Лавка помещалась в бывшем сельпо, приземистом строении из силикатного кирпича с решетками на окнах. На двери висело расписание, от руки, синей пастой: «Пн, ср, пт с 10 до 14. Вт, чт – если надо, стучите. Сб, вс – не стучите». Была среда. Вера вошла.

После вчерашнего вышитого рая лавка показалась ей чуть ли не родной. Здесь все было как в любом сельском магазине от Калининграда до Камчатки: крупа и макароны на полках, консервы пирамидой, сигареты за спиной у продавца, хозяйственное мыло рядом с пряниками, выцветшая реклама мороженого на холодильнике, который не работал. Над прилавком бормотал радиоприемник. Стену возле кассы от пола до потолка покрывали открытки и вырезки из журналов, и на всех было одно и то же: море. Синее, зеленое, штормовое, с пальмами, с чайками, со скалами, с белым пароходом.

За прилавком сидела женщина и курила в форточку. Вера видела ее вчера, она одна из всей деревни не подошла к караваяю, а стояла поодаль, сунув руки в карманы кофты. Сейчас, вблизи, стало понятно, что это и есть та самая «младшая жительница шестидесяти восьми лет». На шестьдесят восемь она никак не тянула. Худая, жилистая, с короткой стрижкой и с резкими складками у рта, она походила на спортивного тренера, который вышел на пенсию по выслуге и до сих пор об этом жалеет.

– Фельдшерица, – сказала она, не вынимая сигареты. – С добрым утром. Тоня. Чего тебе?

– Хлеба, если есть. Чай. Сахар. И вот это, – Вера показала на тушенку.

– Хлеб в пятницу привезут, Космонавт привезет. Есть сухари и галеты, – Тоня слезла с табурета и стала выкладывать товар на прилавок. – Ты ж вроде одаренная. Я вчера видала,

тебе полстола натащили. Или не по вкусу пришлось?

– По вкусу. Просто я привыкла свое покупать.

Тоня перестала двигать банки и посмотрела на нее. Внимательно, с каким-то новым выражением.

– Свое, – повторила она. – Это ты правильно привыкла. Купленное – оно твое и есть. Пятьсот сорок.

Вера положила на блюдце шестьсот. Тоня отсчитала сдачу и положила туда же, на блюдце, не в ладонь. Потом, помедлив, сняла с полки пачку печенья и поставила рядом с покупками.

– А это от меня. Бери, не бойся. Оно фабричное, запечатанное, я к нему руки не прикладывала, – она усмехнулась, заметив, что Вера не понимает. – Ладно, не бери в голову. Ты знаешь, сколько у меня за последние три года было покупателей? Ты да лесник. Остальным покупать незачем. У остальных все свое.

– А вы сами разве не...

– Я сама тут сижу, потому что мне надо где-то сидеть, – отрезала Тоня. – Район дотацию платит, чтоб торговая точка числилась. Девке своей печенье отдай. Хотя она у тебя, я гляжу, уже прикормленная.

Сказано было зло. Вера собиралась ответить, но не успела: дверь за спиной грохнула так, что в окнах дрогнули стекла.

Вошедший был высок, широк в плечах и одет в защитного цвета куртку с какой-то нашивкой на рукаве. Лицо у него заросло темной, с проседью, щетиной, под глазами лежали

мешки, и от него на всю лавку несло дымом, псиной и перегаром. Не свежим, а тем застарелым, какой бывает у людей, пьющих помногу и не первый год. На Веру он не взглянул, шагнул прямо к прилавку.

– Тонь. Две белой, соль, спички. И сухарей кило.

– И тебе не хворать, Матвей Ильич, – Тоня не шевельнулась. – Знакомься. Новая фельдшерица, Вера Андреевна. Вчера приехала.

Он повернул голову. Глаза у него оказались серые, воспаленные, и смотрели они с такой откровенной неприязнью, что Вера невольно выпрямилась.

– Очередная, – сказал он. – Ну, и за сколько тебя купили? За миллион?

– Простите?

– Я спрашиваю, почему нынче фельдшера. В двадцатом году, помнится, тоже миллион давали. Не подорожало, стало быть. Дешево продаешься, Вера Андреевна.

– А вы, я вижу, уже с утра хороший, – сказала Вера. За пятнадцать лет на скорой ее обзывали так, как этому человеку и не снилось, и голос у нее сам собой сделался ровный, служебный. – Давление давно мерили? При таком цвете лица я бы на вашем месте водку брала через раз.

Тоня хмыкнула. Лесник, а это, конечно, был тот самый лесник, про которого вчера тараторила баба Капа, осекся. Похоже, он ждал, что новенькая испугается или обидится.

– Ты одна приехала? – спросил он после паузы, уже дру-

ГИМ ТОНОМ.

– С дочерью.

– Сколько ей?

– А вам зачем?

– Сколько лет дочери, спрашиваю!

– Четырнадцать. И не орите на меня, я вам не жена.

Она сказала это без всякого умысла, просто первое, что пришло на язык. Но лесник дернулся, как от удара. Тоня за прилавком быстро отвела глаза.

В эту минуту на крыльце затопали, дверь распахнулась, и в лавку влетела Соня, румяная, запыхавшаяся, с берестяным туеском, который она прижимала к животу обеими руками.

– Мам, ты тут? А я тебя ищу! Смотри, чего мне дед Митрий дал! Мед! Свой, с пасеки! Он глухой совсем, я ему ору «спасибо», а он не слышит, я тогда поклонилась, как баба Груня, он так обрадовался! Теть Тонь, здрасьте, а ложка есть? Я прямо тут попро...

Договорить она не успела. Лесник шагнул ей навстречу, слишком резко, будто оступился, и задел туесок плечом. Береста выскользнула у Сони из рук. Туесок ударился о порог, крышка отлетела, и мед, густой, темный, гречишный, пополз по доскам тяжелой лужей.

– Вы что?! – крикнула Соня. – Вы совсем?!

– Не видел, – сказал лесник. – Извиняй.

Он не выглядел ни смущенным, ни виноватым. Он смотрел на лужу с тем выражением, с каким смотрят на раздав-

ленную гадюку. А потом его взгляд поднялся к Сониной руке, протянутой к туюску, и остановился.

Вера во второй раз за сутки наблюдала, как человек меняется в лице при виде серого обрезка. Только баба Груня тогда посерела, а этот побелел, разом, до самых губ.

– Откуда? – спросил он хрипло.

– Что откуда? – Соня спрятала руку за спину. – Отстаньте от меня! Мам, он пьяный!

– Откуда у нее это? – он повернулся к Вере. – Это пояс. Это кусок ихнего пояса. Кто ей дал? Груня? Уже дала?

– Никто ей ничего не давал. Мы привезли это с собой. Из города.

– Из города, – повторил он. Постоял, покачиваясь с носка на пятку. Вера видела, как у него на шее бьется жила. – Из города такое не привозят. Ты, фельдшерица, либо врешь, либо сама не понимаешь, куда влезла. И я не знаю, что хуже.

Он бросил на прилавок мятую тысячу, сгреб в охапку бутылки, соль и сухари и пошел к выходу. Мед он перешагнул. На пороге обернулся.

– Седьмой кордон. Три километра по просеке за озером. Если надумаешь поговорить – приходи. Одна. И ничего у них не ешь.

Дверь хлопнула. В лавке стало слышно радио, передававшее прогноз погоды для областного центра.

– Псих, – сказала Соня дрожащим голосом. – Мам, он реально псих. Он специально толкнул, я видела! Такой мед

был!

– Я тебе другой куплю.

– Такого не купишь! – она присела над лужей, макнула палец и сунула в рот. – Вкусно-то как...

– Соня! С пола!

– Да чистый же пол!

Тоня принесла ведро и тряпку. Собирая мед, она ни на кого не глядела, и только когда Соня, обиженно сопя, вышла на улицу, сказала негромко, обращаясь будто бы к тряпке:

– Ты на Матвея зла не держи. У него жена тут лежит. На кладбище. Восьмой год.

– Сочувствую. Это не повод кидаться на детей.

– Не повод, – согласилась Тоня. – Он и не кидался.

* * *

Обход Вера начала после обеда. Она рассудила так: раз пациенты в медпункт не идут, медпункт пойдет к пациентам. Диспансеризацию с нее спросят в любом случае, и лучше сразу понять, что за контингент ей достался. Взяла тонометр, глюкометр, фонендоскоп, пульсоксиметр, стопку чистых бланков и отправилась по дворам.

К пятому двору у нее было чувство, что над ней издеваются.

Капитолина Ефимовна, восемьдесят девять лет: давление сто двадцать на восемьдесят, пульс шестьдесят шесть, сахар пять и одна. Сестра ее Манефа Ефимовна, девяносто один год: сто двадцать на семьдесят пять, пульс шестьдесят четы-

ре, сахар четыре и девять. Дед Митрий, пасечник, девяносто семь лет: сто двадцать пять на восемьдесят, пульс шестьдесят. Глухота у него была настоящая, но больше не находилось ничего. Суставы гнулись. Отеков не было. Легкие дышали так чисто, как у нее самой не дышали с тех пор, как она в двадцать лет начала курить, а в тридцать бросила.

Савелий Кузьмич встретил ее на крыльце с телефоном на палке для селфи.

– А вот и медицина пожаловала! – объявил он в камеру. – Дорогие мои подписчики, сейчас вашего деда будут обследовать. Делайте ставки, сколько мне осталось. Вера Андреевна, ты в кадр встань, не стесняйся. Народ должен знать своих героев.

– Савелий Кузьмич, уберите телефон. Это врачебная тайна.

– Какая у меня тайна? Я весь как на ладони, – но телефон он все же опустил. – Ну, давай, меряй. Только, чур, не пугаться.

Сто пятнадцать на семьдесят. Пульс пятьдесят восемь, как у лыжника.

– Вы спортом занимались?

– Колхозом я занимался. Сорок лет. Это тебе почище всякого спорта, – он подмигнул. – Что, не сходится у тебя, фельдшерица? Вижу, не сходится. Думаешь, документы у нас поддельные? Все так думают. Из района приезжали, из области приезжали, один раз даже из Москвы, из института

какого-то, кровь брали. Ничего не нашли. Воздух, говорят, у вас особенный. Экология.

– И давно у вас такая экология?

– Да уж порядочно.

– Мне нужно вас послушать. Рубашку снимите, пожалуйста.

– А ты через рубаху слушай.

– Через рубаху плохо слышно.

– А ты постарайся. Я человек старой закалки, я перед дамами не заголяюсь.

Он смеялся, и глаза у него были веселые, но рубаху, застегнутую до горла, он так и не расстегнул. Вера приложила фонендоскоп поверх ткани. Сердце стучало ровно и сильно. Тоны ясные, шумов нет.

То же самое повторялось в каждом доме. Руку для манжеты давали охотно, палец для прокола – пожалуйста, язык показывали, в горло заглянуть разрешали. Раздеваться не желал никто. Старухи конфузились и махали руками: что ты, милая, срам-то какой. Старики отшучивались. Зоя Петровна сухо сообщила, что она человек здоровый и в осмотре не нуждается, а если Вера Андреевна хочет заполнить бланк, то пусть пишет: «жалоб нет».

Савелий, провожая ее, потянулся снять с гвоздя гармонь, висевшую высоко под притолокой. Рубаха у него выбилась из-под ремня и задралась на спине.

Под рубахой, на голом теле, чуть ниже ребер, шла серая

полоса в три пальца шириной.

Вера стояла на нижней ступеньке и смотрела на нее снизу вверх. Та же ткань. Те же редкие прожилки, темные и светлые. Полоса сидела плотно, врезаясь в кожу, но кожа у Савелия Кузьмича вокруг нее была розовая и гладкая. Никакой борозды.

– Что это у вас? – спросила она. Получилось сипло.

Он оглянулся, проследил за ее взглядом и неторопливо заправил рубаху.

– Это? Пояс от радикулита. Собачья шерсть. Груня ткет. Мы тут все в таких ходим, дело-то стариковское, поясница у всех одна, – он уже опять улыбался. – А что, в городе не носят?

– Носят, – сказала Вера. – Один носил.

Улыбка у него на лице не погасла. Она просто застыла, как застывает на морозе вода в ведре.

– Вот и я говорю, – произнес Савелий Кузьмич после очень короткой паузы. – Полезная вещь.

* * *

Дом Лукерьи стоял последним в ряду, на самом берегу. Вера шла к нему и пыталась собрать мысли в какой-нибудь порядок. Порядка не выходило. Девятнадцать человек в одинаковых поясах из человеческих волос. Старик, сбежавший от этих девятнадцати в город и попросивший срезать с него пояс. Обрезок, который не берут ножницы. Записка в кармане чужого пальто. Пьяный лесник с его «ничего у них не

ешь» и водитель с его «ничего не бери». Все это было как рассыпанный пазл, в котором не хватает половины кусков, а на коробке нет картинки.

«Секта», – снова сказала она себе. Слово уже не успокаивало, но другого у нее не было. Закрытая община. Отсюда и долгожительство: травы какие-нибудь, режим, особая диета. Отсюда и пояса – ритуальный предмет, знак принадлежности. Отсюда подарки: заманивают, вербуют. Прежняя фельдшерица не выдержала, повредилась рассудком. Что ж. Вера Ладыгина рассудком повреждаться не собиралась. Она отработает пять лет, получит свой миллион и уедет. А Соню надо просто чем-то занять, чтобы меньше торчала у бабок.

Дверь ей открыл один из близнецов. Фрол или Лавр, она пока не научилась их различать: оба были низкорослые, крижистые, с одинаковыми лысыми головами и одинаковыми тяжелыми руками, и оба за весь вчерашний день не произнесли ни слова. Этот молча посторонился.

В избе было темно от задернутых занавесок и пахло так, как пахнет в домах, где давно лежит больной: мочой, лекарственной травой и несвежим бельем. Этот запах Вера узнала бы с завязанными глазами. Он был первым настоящим, неподдельным запахом старости, который она почувствовала в Долгом.

Лукерья лежала на высокой кровати у печи. Вера подошла, и что-то в ней отпустило. Перед ней наконец была обыкновенная очень старая женщина. Маленькое ссохшееся лицо

на подушке, запавший рот, редкие белые волосы, сквозь которые розовеет темя. Руки поверх одеяла, все в коричневых пятнах, с вывернутыми артритом пальцами. Дыхание частое, поверхностное, с хрипами. Вот так и должен выглядеть человек на исходе десятого десятка. Наконец-то хоть кто-то в этой деревне выглядел правильно.

– Давно она слегла? – спросила Вера у близнеца.

Тот показал три пальца.

– Три дня? Три недели?

Кивнул на втором.

Три недели. Вера посчитала в уме и поняла, что ей не хочется досчитывать до конца. Три недели и еще несколько дней назад она стояла на первой платформе с ножницами в руке.

Давление у Лукерьи было девяносто на пятьдесят. Пульс нитевидный, с перебоями. В нижних отделах легких булькало. Вера привычно прикидывала: застойная пневмония, сердечная недостаточность, нужен стационар, кислород, антибиотики, мочегонные. Нужна машина из района. Она откинула одеяло, чтобы осмотреть ноги на предмет отеков, и увидела, что рубаша на старухе сбилась кверху.

Пояс у Лукерьи тоже был. Только он не обхватывал ее тело плотным кольцом, как у Савелия. Он висел, провисал, как резинка на исхудавшем животе, и был не серый, а какой-то блеклый, вытертый, с торчащими во все стороны оборванными волосками. В двух местах ткань разлезлась до дыр.

– Спустило, – прошелестело с подушки.

Вера вздрогнула. Лукерья смотрела на нее. Глаза в глубоких глазницах были мутные, слезящиеся, но вполне осмысленные.

– Петлю спустило, – повторила старуха. – Одну нитку выдернули – все полотно ползет. Ты, что ли, новая лекарка?

– Я. Вера Андреевна. Лежите спокойно, я вас сейчас посмотрю, и будем вызывать машину. Вам в больницу надо.

– Не надо мне в больницу. Мне Петю надо, – скрюченные пальцы поползли по одеялу и вцепились Вере в рукав. – Ты ведь его видала. Я знаю, что видала, мне Груня сказывала, на девке твоей его лоскут. Скажи мне. Он как... отмучился? Легко?

Близнец у двери шевельнулся. Вера услышала, как скрипнула половица, но не обернулась. На стене над кроватью, между бумажной иконкой и отрывным календарем, висела фотография в деревянной рамке. Мужчина и женщина, молодые, плечом к плечу. Она – круглолицая, в белом платочке. Он – широкий, русский, с тяжелыми руками, сложенными на коленях.

Женщину Вера узнала: баба Груня, моложе нынешней лет на сорок. А мужчина был с платформы.

«Он не ее муж, – поняла она. – Он муж бабы Груни. А Лукерье он кто? Брат?»

– Я не понимаю, о ком вы, – сказала она.

– Врешь, – Лукерья не рассердилась. В ее шепоте была

одна усталость. — Все вы врете, и мы врем. Одно вранье кругом, оттого и нитка гнилая. Ты мне только скажи: легко?

Надо было молчать. Молчать и отпираться, как она отпиралась перед Савелием, перед лесником, перед собственной дочерью. Но Вера пятнадцать лет говорила родственникам правду в больничных коридорах и не умела иначе, когда ее спрашивали вот так.

— Легко, — сказала она. — Он не мучился. Он улыбался.

Старуха закрыла глаза. Из-под века выкатилась слеза и застряла в морщине.

— Ну и слава богу. Хоть один по-людски, — Пальцы на рукаве разжались. — А пояс ты отдай. Что унесла — отдай Груне. Худо без него. Всем худо, а мне первой. Мы с Петей двойня, у нас нитка одна на двоих была...

Тяжелая рука легла Вере на плечо. Близнец стоял у нее за спиной, и второй, неизвестно откуда взявшийся, заслонял дверь. Первый покачал лысой головой и указал подбородком на выход. Прием окончен.

— Ей нужна госпитализация, — сказала Вера. — Вы меня слышите? Она умрет без лечения.

Близнецы переглянулись. Тот, что держал ее за плечо, разлепил губы. Голос у него был тонкий, скрипучий, словно им давно не пользовались.

— У нас не помирают, — сказал он. — Иди, лекарка. Груня сама полечит.

* * *

Домой она вернулась в сумерках. Сони опять не было; на столе лежала записка: «Я у б. Груни, учусь прясть!!! Буду поздно, не жди, меня покормят». Три восклицательных знака и нарисованное сердечко.

Вера скомкала листок. Потом расправила и положила обратно. Идти и забирать дочь силой, на глазах у всей деревни, было бы глупо: она только настроит Соню против себя, а старики получат лишний повод ласково пожать плечами. Сначала надо было понять, с чем она имеет дело. Понять по-настоящему, с фактами в руках, а не с догадками.

Факты могли быть только в одном месте.

Архив фельдшерского пункта хранился в чулане за амбулаторией: три фанерных ящика с амбулаторными картами, поставленных один на другой. Верхний, с картами приезжих, она отставила, не открывая. Ее интересовали местные. Она помнила, что в журнале Ждановой, так звали прежнюю фельдшерицу, Вера нашла фамилию на обложке, ни одного местного не значилось. Но медпункт в Долгом существовал, судя по табличке на крыльце, с пятьдесят четвертого года. Кто-то же ходил сюда раньше.

Карты в нижнем ящике были старые, на желтой ломкой бумаге, заполненные перьевой ручкой. Вера перебирала их при свете голой лампочки. Долгова Аграфена Тимофеевна, год рождения двадцать девятый. Толстая карта, исписанная до последней страницы. Она открыла ее с конца.

Роды – пятьдесят седьмой год, девочка, без осложнений.

Ниже: жалобы на боли в подложечной области, похудание, рвоту «кофейной гущей». Шестьдесят первый год. Направлена в областную больницу. Вклеена выписка, отпечатанная на машинке с западающей буквой «р».

Вера прочла диагноз. Перечитала. Латынь за шестьдесят с лишним лет не изменилась.

Cancer ventriculi, четвертая стадия. Метастазы в печень. Признана неоперабельной. Выписана домой под наблюдение фельдшера для симптоматического лечения. Февраль шестьдесят второго года.

Последняя запись в карте была сделана рукой местного фельдшера, аккуратным мужским почерком, фиолетовыми чернилами: «14.X.62. Состояние крайне тяжелое. Кахексия. Морфин 1,0 п/к. Родственники предупреждены. Прогноз – дни».

Больше в карте не было ничего. Ни строчки. Чистые листы до самой обложки.

Вера отложила ее и взяла следующую. Руки у нее были холодные. Савелий Кузьмич, двадцать шестой год рождения: фиброзно-кавернозный туберкулез легких, кровохарканье, «в санаторном лечении отказано ввиду тяжести состояния». Последняя запись – четырнадцатое октября шестьдесят второго. Капитолина Ефимовна: порок сердца, декомпенсация. Четырнадцатое октября. Близнецы, оба: силикоз третьей стадии после шахты. Дед Митрий: уремия. Манефа: «опухоль матки, кровотечения». Лукерья и Петр Долговы: у

обоих что-то наследственное, с кровью, фельдшер не знал названия и написал просто: «тает».

Одиннадцать карт. Одиннадцать приговоров. И на каждой последняя запись помечена одним и тем же числом.

Четырнадцатое октября. Покров.

Она сидела на перевернутом ящике, обложившись желтыми листьями, и слушала, как на улице играет гармонь. Савелий Кузьмич выводил «Златые горы». Ему подпевали женские голоса, и один из них, слабый, неумелый, но чистый, Вера узнала бы из тысячи.

Соня пела вместе со всеми. Соня, которая в школе стеснялась открыть рот на уроке музыки.

«Аграфена Тимофеевна, – подумала Вера очень медленно, словно выговаривая трудное иностранное слово, – должна была умереть шестьдесят три года назад. Они все должны были».

А потом она подумала еще одно, и от этой второй мысли ей стало по-настоящему страшно.

«К Покрову, бывает, уже и снег ложится, – сказала по телефону Кривцова. – Хорошо бы вам успеть до снега».

До Покрова оставалось тридцать четыре дня.

Глава 4. Внуенька

В тот вечер, когда Вера сидела в чулане над желтыми медицинскими картами, ее дочь была счастлива, как не была счастлива, наверное, никогда в жизни. Соня сама бы этого слова не сказала. Она вообще не любила громких слов и в своем блоге пользовалась другими: «норм», «вайб», «огонь». Но если бы кто-то спросил ее напрямик, она бы, подумав, призналась, что да, пожалуй. Счастлива. И что это очень странное ощущение, вроде того, какое бывает, когда снимаешь тесные ботинки, в которых проходила целый день.

В городе у нее была комната в девять метров с окном на трансформаторную будку. Была школа, где с пятого класса все разбились на компании, а она ни в одну не попала, потому что вечно говорила не то и не тогда. Была Кристина Жаркова со своими смайликами. Был отец, который полгода не брал трубку. И была мама, которая приходила с суток серая, падала на диван в чем была, а проснувшись, первым делом спрашивала про уроки, и Соня всякий раз чувствовала себя не человеком, а еще одним вызовом, который надо обслужить и ехать на следующий.

Соня маму любила. Просто с мамой было тяжело. Мама была как сжатый кулак.

А здесь ее с первой минуты приняли так, словно ждали всю жизнь. Стоило выйти за калитку – и из каждого ок-

на, из-за каждого забора несло: «Сонюшка, зайди, я оладьев напекла!», «Сонюшка, глянь, какой у меня котенок!», «Сонюшка, а вот я тебе яблочко припасла, антоновка, самая сладкая». Ее кормили, расспрашивали, слушали. Вот это было самое удивительное: ее слушали. Баба Капа с бабой Манефой, раскрыв рты, внимали рассказу про то, что такое подписчики и зачем нужны лайки. Дед Савелий, сам блогер, обсуждал с ней, как лучше ставить свет. Глухой дед Митрий ничего не слышал, но кивал так уважительно, что Соня при нем невольно начинала говорить умные вещи.

И была баба Груня.

К бабе Груне Соня прикипела сразу, с каравая. Объяснить это было трудно. От нее пахло тестом и сушеной мятой. У нее были мягкие руки и голос, от которого хотелось закрыть глаза. Она никогда никуда не торопилась, ничего не требовала и ни разу не спросила про оценки. Она называла Соню «дитятко» и «внученька», и поначалу это резало ухо, а на третий день Соня заметила, что ждет этих слов.

Дом у бабы Груни был самый старый в деревне, черный от времени, в два этажа: внизу жилье, наверху светелка, куда вела крутая лесенка с перильцами. В светелку Соню пока не пускали. «Там у меня кросна стоят, – говорила баба Груня, – станок ткацкий. Не прибрано. Вот управлюсь – покажу». Зато внизу Соня изучила каждый угол. Сундук с коваными углами, полный рушников. Божница с темными образами, перед которыми почему-то не горела лампадка. Прялка у окна,

не игрушечная, а настоящая, с большим колесом и педалью, отполированной до блеска.

– А можно попробовать? – спросила Соня на второй день.

– Чего ж нельзя. Садись, дитяtko. Ногой качай ровно, не дергай. А пальчиками вот так кудель тяни, по волоконцу, по волоконцу...

Кудель была серая и мягкая, привязанная к высокой резной доске. Нитка у Сони сначала рвалась, потом шла толстая, с шишками, потом вдруг выровнялась и потекла сама, тонкая, гладкая, и колесо зажужжало. Соня засмеялась от неожиданности. Ей показалось, что пальцы все знают без нее. Будто она не учится, а вспоминает.

– Вот, – сказала баба Груня тихо. – Вот оно. Я ж говорю: руки правильные.

В тот же день она подарила Соне поясok. Тот самый, красный с серым, что лежал на лавке среди других подарков и который мама велела не трогать, «пока не разберемся». Соня его тогда послушно отложила. А баба Груня принесла другой, почти такой же, только поуже, и сказала, что у них в деревне ни одна девка без пояса не ходит, это и красота, и оберег, а подпоясанного человека, по-старому говоря, никакой леший не тронет.

– Его под одежду носят, на голое тело, – объяснила она. – Чтоб чужой глаз не видал. Давай-ка завяжу.

– Спасибо, баб Грунь. Он такой красивый!

– Носи, внученька. Носи на здоровье.

Маме про поясок Соня не сказала. Незачем. Мама в последнее время на любую веревочку реагировала так, словно это оголенный провод.

Что удивительно, с поясом действительно стало лучше. Соня не верила ни в какие обереги, она была человек современный. Но факт оставался фактом: на другое утро она проснулась в шесть часов, сама, без будильника, и почувствовала, что выпалась. Спина, которая ныла у нее с седьмого класса из-за тяжелого рюкзака, не болела. В голове было ясно. Хотелось бежать, прыгать, что-то делать. Она натаскала воды из колодца, шесть ведер, и не запыхалась. Она залезла на Связной бугор бегом. Она за один вечер прочла два параграфа по истории, которые ей задала Зоя Петровна, и запомнила все даты.

Зоя Петровна, впрочем, была единственной в Долгом, кого Соня побаивалась. Учительница занималась с ней через день, по два часа, в своей чистой холодной горнице, где на этажерке стояли одинаковые серые тома и ничем не пахло. Она не называла Соню ни дитяtkом, ни Сонюшкой. Она говорила: «Ладыгина, вы невнимательны». Пирогов не предлагала, только воду в граненом стакане, который ставила на стол.

На стене над этажеркой висела фотография. Молодой человек в ковбойке, рыжий, это было видно даже на черно-белом снимке, по тому, как светились волосы, смеялся и держал на плечах маленькую девочку.

– Это кто? – спросила Соня.

– Коллега, – ответила Зоя Петровна, не обернувшись. – Преподавал математику. Давно. Откройте учебник, Ладыгина. Параграф четырнадцатый.

– А девочка?

– Ученица. Не отвлекайтесь.

Больше Соня не спрашивала. Но ей показалось, что у девочки на снимке знакомое лицо. Острое, сердитое. Стрижку бы покороче и сигарету в зубы.

«Экология, – думала Соня. – Воздух. Еда нормальная, без химии. Вот что значит деревня».

* * *

Блог у нее назывался «Соня не спит», и подписано на него было четыреста двенадцать человек, из которых живых, по ее прикидкам, набиралось от силы сорок. Переезд она задумала превратить в сериал. Название придумалось само: «Соня в глуши». Она снимала все подряд: дорогу, каравай, печку, туалет с сердечком, деда Савелия с гармонью, бабу Капу, которая на камеру страшно важничала и поджимала губы, петуха у колодца. За неделю материала накопилось часа на три.

Выкладывать можно было только с бугра. Бугор торчал за околицей, лысый, с одинокой сосной на макушке, и к нему вела тропка мимо кладбищенской ограды. На самом верху, под сосной, стояла скамейка, сколоченная из двух чурбаков и доски. Сигнал тут ловился на две палки, а в ясную погоду

и на три.

На десятый день после приезда Соня сидела на этой скамейке и монтировала первую серию. Она просматривала отснятое, выбирая, что оставить, и на куске, где вся деревня шла навстречу автобусу, нажала на паузу.

Что-то было не так с картинкой.

Она отмотала назад. Запустила снова. Вот гармонь. Вот платки и кофты. Вот каравай на полотенце. Камера чуть дрогнула, фокус на секунду поплыл, и в эту секунду лица в кадре поменялись.

Соня приблизила изображение двумя пальцами.

На экране, вместо румяной бабы Груни, каравай держало существо, которому она не сразу нашла название. Череп, обтянутый желто-серой кожей. Провалы на месте щек. Беззубый рот, из которого торчал один длинный зуб. Глаза, ушедшие так глубоко, что в глазницах лежала тень. Платочек был тот же, беленький, а под платочком – вот это. И рядом, с гармонью в руках, стоял такой же: высокий скелет в пиджаке с орденскими планками. И дальше, и дальше, вся толпа. Двадцать четвертых секунды. Потом фокус вернулся, и баба Груня опять улыбалась своей ясной улыбкой.

– Ни фиги себе, – сказала Соня вслух.

Страшно ей не было. Ей было смешно. Она знала, как это называется: глитч. Нейросеть в камере, которая сама подтягивает лица, сбоит и вместо улучшения выдает черт знает что. Сейчас в каждом телефоне сидят такие фильтры, и у

Кристины Жарковой однажды на селфи выросло третье ухо. А тут, видно, алгоритм прикинул возраст и перестарался.

Она нашла еще три таких места. В одном дед Савелий, рассуждая о колхозных надоях, на полсекунды превращался в мумию с отвисшей челюстью. В другом баба Капа с бабой Манефой, хихикающие на лавочке, оборачивались двумя серыми мешками костей. В третьем, снятом у бабы Груни в избе, было видно только руку, лежащую на прялке, и рука эта была как куриная лапа, с черными ногтями.

«Бабушки-зомби, – придумала Соня подпись. – Мой телефон считает, что они слишком старые для этого мира». Вырезала четыре куска, склеила, наложила музыку из фильма ужасов и отправила. Ролик ушел, покрутив колесиком.

– Чего снимаешь, коллега?

Она подскочила. Дед Савелий стоял у нее за плечом, а когда он подошел, она не слышала. Ходил он для своих лет на редкость тихо.

– Здрасьте, Савелий Кузьмич. Да так. Монтирую.

– Покажь.

Соня повернула к нему телефон. Не из вредности, а просто не подумав: ей казалось, что деду, как человеку с юмором и с двумя тысячами подписчиков, это должно понравиться. Ролик пошел по кругу. Музыка завывала.

Савелий Кузьмич смотрел молча. Досмотрел до конца, подождал, пока начнется сначала, досмотрел еще раз. Веселое лицо его не изменилось, только как-то подсохло.

– И куда ты это?

– В блог. Уже выложила. А что, прикольно же!

– Прикольно, – согласился он. – Ты вот что, Софья. Ты это убери.

– Почему?

– Некрасиво вышли. Старым людям обидно будет. Они тебя приветчают, пирогами кормят, а ты их на весь свет страшилищами выставила.

– Да это же глюк! Все поймут, что глюк!

– Все, может, и поймут, – сказал он. – А кое-кто, может, и не поймет. Убери, Софья. По-хорошему прошу.

«По-хорошему» прозвучало так, что Соне расхотелось спорить. Она обиженно ткнула в экран, удаляя пост. Двенадцать просмотров, один лайк. Кто-то из сорока живых успел.

– И с телефона сотри.

– Савелий Кузьмич!

– Сотри, говорю. Я прослежу.

Она протянула ему телефон: нате, мол, стирайте сами, раз такой умный. Дед Савелий не взял. Он даже руки убрал за спину.

– На лавку положи.

– Чего?

– На лавку, говорю, положи. Вот сюда.

Соня положила. Тогда он взял телефон с доски, отошел на два шага, повернулся к ней спиной и довольно долго возился, тыча в экран коричневым пальцем. Потом вернул таким же

манером: положил на скамейку и отступил.

Из галереи исчез не только ролик. Исчезли все исходники. Все три часа.

– Вы зачем?! Там же все было! Дорога, приезд, все!

– Заново снимешь, – сказал Савелий Кузьмич. Он уже опять улыбался, и в уголках глаз собрались лучики. – Деревня никуда не денется, и мы никуда не денемся. А телефон твой, коллега, я тебе настрою. Есть там одна галочка, «улучшение портрета». С ней никаких глюков не будет. – он шагнул было прочь, но обернулся. – И матери про это не рассказывай. Она у тебя женщина нервная, еще подумает чего. Договорились?

– Договорились, – буркнула Соня.

Она смотрела, как он спускается с бугра, прямой, легкий, помахивая сорванной травинкой, и злилась. Не на то, что стер. На то, что командовал. Мама тоже командовала, но мама хотя бы имела право.

А еще что-то царапало. Какая-то мелочь, которую она не могла ухватить. Ну, не взял из рук, подумаешь. Тут никто не брал из рук, она давно заметила, примета у них. Но телефон-то ему был нужен, он за ним, можно сказать, потянулся – и отдернул пальцы, как от горячего.

* * *

Обратно она пошла не по тропке, а напрямик, через кладбище. Просто чтобы не идти следом за дедом Савелием. Калитка в ограде была не заперта.

Покойников Соня не боялась. С мамой-фельдшером о смерти дома говорили так же буднично, как о погоде. Кладбище оказалось небольшое и делилось надвое поперечной дорожкой. По левую руку, в старой части, под березами, стояли кресты, темные, покосившиеся, и на тех табличках, где еще можно было что-то прочесть, фамилия была почти везде одна: Долговы. Долгов Тимофей, Долгова Улита, Долгов Савватей. Даты кончались пятидесятыми. Самая поздняя, какую Соня нашла, была шестьдесят вторая: «Долгова Ефросинья Никитична, 1880–1962».

Правая сторона была новее и ухоженней. Здесь стояли не кресты, а памятники: железные пирамидки со звездами, плиты из бетонной крошки, два-три гранитных. Соня шла вдоль ряда и читала.

«Ковригин Алексей Петрович, учитель. 1940–1965».

«Сафонова Нина Ивановна, агроном. 1938–1967».

«Рабочие Лихвинского леспромхоза» – общая плита, и на ней столбиком двадцать шесть фамилий. Год смерти у всех стоял один: шестьдесят третий.

«Белкин Г. А., геолог. 1951–1979».

«Супруги Вайнштейн, Марк и Роза. Дачники. Умерли в 1988 году». Кто-то не поленился выбить это слово на камне: дачники.

Дальше шли девяностые, нулевые. Могил становилось меньше, промежутки между датами – длиннее. Какой-то фермер. Какая-то «беженка из Душанбе с дочерью». Свя-

щенник – «иерей Николай, настоятель строящегося храма». Строящегося храма Соня в деревне не видела. Видела только фундамент за лавкой, заросший крапивой.

Она поймала себя на том, что считает годы. Двадцать пять лет учителю. Двадцать девять агрономше. Двадцать восемь геологу. Здесь лежали молодые. Одни молодые. И ни одного с фамилией Долгов.

«Ну и что, – сказала себе Соня. – Деревенские – долгожители, они не умирают. А приедем тут, наверное, климат не подходит. Или болото. Или радон какой-нибудь».

Мысль была неуютная. Она ускорила шаг.

Последние три могилы были совсем свежие, если мерить кладбищенской меркой. На первой, под серым гранитом, значилось: «Шумилова Екатерина Дмитриевна. 1985–2018. Прости». У плиты лежали живые цветы, поздние астры, и стоял граненый стакан, накрытый куском хлеба.

На второй – «Жданова Галина Сергеевна, фельдшер. 1976–2020».

Третья была одна на троих. «Корнеевы». Отец, мать и строчкой ниже, буквами помельче: «Миша. 2018–2021». В камень была вделана овальная фотография. Мальчик лет трех сидел на деревянной лошадке и смеялся. Волосы у него были белые-белые, как пух одуванчика.

Соня стояла и смотрела на эту фотографию, пока не услышала за спиной шаги.

– Это который мед любил, – сказал хриплый голос. – Дед

Митрий ему каждый день носил. В таком же туеске.

Она обернулась. Лесник стоял в трех шагах, держа в опущенной руке пучок еловых веток. Он был трезвый. Это Соня определила сразу, у нее на отцовских приятелях глаз был наметан. Трезвый, выбритый и от этого казавшийся еще более угрюмым.

– Вы за мной следите?

– Я к жене пришел, – он кивнул на серый гранит. – Каждую пятницу хожу. Это ты тут чужая.

– Я гуляю. Нельзя?

– Можно. Гуляй. Только читай внимательно, – он положил ветки на плиту, поправил стакан. – Корнеевы приехали в девятнадцатом. Дом купили за материнский капитал, тут тогда три избы продавалось. Хорошие ребята были, веселые. Она все варенье варила, он баню рубил. Малец у них по всей деревне бегал, его бабки с рук не спускали. Через год у мальчика нашли то, что бывает у стариков. Кости стали как мел. В три года. Врачи в области руками разводили. А еще через год схоронили всех троих, одного за другим. Родители, говорят, от горя.

– Зачем вы мне это рассказываете?

– Затем, что мать твоя меня слушать не станет. Она из тех, кто сам все знает, – он выпрямился и посмотрел Соне в лицо. Глаза у него были красные, как у человека, который давно не спал. – Тебе пояс дали?

Соня молчала.

– Дали, – сказал он. – Вижу, что дали. Ты по-другому стоишь. Катя тоже так стояла первый месяц, будто крылья выросли. Сними его.

– Это не ваше дело.

– Сними и сожги. Сама. С тебя его никто снять не сможет, только ты.

– Вы пьяница и псих, – сказала Соня звонко. – Вы меня толкнули и мед разлили. Про вас вся деревня говорит. Баба Капа говорит, вы жену свою сами в гроб вогнали, пили и били ее, а теперь ходите и на людей кидаетесь, потому что совесть мучает!

Она ожидала, что он заорет. Или замахнется. Он не сделал ни того, ни другого. Он только провел ладонью по лицу, сверху вниз, словно стирая что-то.

– Про совесть баба Капа правду говорит, – ответил он. – А про остальное врет. Ты, девочка, спроси у своей бабы Груни одну вещь. Спроси, почему у нее у самой внуков нет. И у Капы. И у Манефы. У всех спроси. Девятнадцать стариков в деревне, а в гости к ним ни разу никто не приехал. Ни сын, ни внук, ни правнук. Тебе не странно?

Он повернулся и пошел к калитке, тяжело ставя ноги в сапогах. Соня показала его спине язык. Получилось как-то неубедительно.

* * *

Она спросила. Не потому, что поверила. Просто вопрос застрял занозой, а занозы Соня терпеть не умела.

Баба Груня в это время чесала шерсть на двух больших щетках с железными зубьями. Соня сидела рядом на лавке, вязала шарф, который дорос уже до полуметра, и долго ходила вокруг да около, прежде чем выговорить:

– Баб Грунь, а у вас дети есть?

Щетки остановились.

– Есть, дитятко. Тоня. В лавке сидит.

– Тетя Тоня – ваша дочка?! – Соня чуть не уронила спицы. Худая, злая, вечно дымящая Тоня и баба Груня никак не складывались у нее в одну семью. – А почему она к вам не заходит?

– Заходит, когда надо. Характер у нее. В отца пошла.

– А еще? Кроме нее?

Баба Груня положила щетки на колени. Смотрела она мимо Сони, в окно, за которым качалась рябина.

– Четверо было до Тони. Ванюшка, первенький, в сорок седьмом году. Три месяца пожил. Молока у меня не стало, голодно было, одну лебеду ели. Потом двойняшки, Зина да Зоя, в пятидесятом. Тех корь унесла, обеих за одну неделю. Фельдшер приехал, когда уж отпевать было впору. А потом Алешенька, – голос у нее не дрогнул, только стал ниже. – Этот до шести годков дожил. Самый был ласковый. В озеро провалился на Николу зимнего, под лед. Петя за ним нырял, муж мой. Достал. Да поздно.

Соня не знала, что сказать. Она отложила вязание.

– Я когда его в гробу увидела, махонького, в белой руба-

шечке, – продолжала баба Груня ровно, – я так себе положила: все. Больше никого не отдам. Хоть что со мной делайте, хоть режьте, хоть на том свете в смоле варите. Ни одного своего больше в землю не положу. И не положила.

– А тетя Тоня? У нее дети есть?

– Нету. Не дал Бог.

– А у других? У бабы Капы, у деда Савелия?

– И у других нету, дитятко. Так уж вышло. Кому здесь рождать-то было? Молодые разъехались, а мы остались. Живем вот, – она повернулась к Соне и вдруг улыбнулась, светло, как умела она одна, и глаза у нее заблестели. – Долго живем, а радости в том мало. Дом без ребенка – что печь без огня. Я уж и забыла, как это: чтоб кто-то по избе бегал, чтоб косу кому заплести. А тут ты. Ты мне теперь вместо внученьки, слышишь? Вместо всех, кого не дождалась.

Она притянула Соню к себе и прижала ее голову к плечу. От кофты пахло мятой. Соня зажмурилась. В носу у нее щипало, и она подумала, что лесник – сволочь. Обыкновенная пьяная сволочь, которой завидно, что у кого-то есть близкие. Спроси, говорит. Вот, спросила.

Мягкая ладонь гладила ее по волосам. Долго, ласково, от макушки до самых кончиков. Потом Соня почувствовала, что ладонь на секунду задержалась и что-то едва ощутимо дернуло у виска. Наверное, волосок зацепился за шершавую кожу.

– Ишь, лезут, – пробормотала баба Груня. – Линяешь,

внученька. Это к осени, это ничего.

* * *

Скандал случился в тот же вечер.

Мама ждала ее дома, сидя за столом перед тарелкой гречки с тушенкой, которую она ела который день. Подарки с лавки исчезли. Банки, туесок с остатками меда, носки, полотенце, красный пояс, даже гребень – все было сложено в картонную коробку и вынесено в сени. На столе стояли только хлеб, привезенный в пятницу Космонавтом, и пачка печенья.

– Садись, – сказала мама. – Надо поговорить.

Соня села. Она знала этот голос. Таким голосом мама объявляла, что отец больше с ними не живет.

– С завтрашнего дня ты у них ничего не ешь. Вообще ничего. Ни пирогов, ни молока, ни яблок. Готовить я буду сама, продукты из лавки. И ничего у них не берешь. Никаких подарков.

– Почему?

– Потому что я так сказала.

– Это не ответ.

– Соня, я пока не могу тебе объяснить. Я сама не до конца понимаю. Но здесь что-то не так. С этими людьми. Я смотрела их медицинские карты...

– Ну и что там? Они тайные вампиры?

– Не смешно.

– А по-моему, очень смешно! – Соня вскочила. – Ты с лесником сговорила, да? Он мне сегодня то же самое втирал.

Сними, сожги, не ешь. Вы оба больные! Вам просто невыносимо, что кто-то ко мне нормально относится!

– Он к тебе подходил? – Мама подалась вперед. – Что он говорил?

– Что надо, то и говорил! Про мертвых детей рассказывал. Спасибо ему большое, я теперь спать не буду! – она задыхалась. – Знаешь, что я думаю? Что ты всех подозреваешь, потому что сама... Потому что у тебя никого нет! Ни подруг, ни мужа, никого! Ты и папу выгнала, потому что он тебе вечно был должен, а ты считала! Ты все считаешь! И тут тебе люди от души, а ты опять считаешь!

– Папа ушел сам.

– Да конечно! От тебя кто хочешь уйдет! – это было жестоко, Соня понимала, но остановиться уже не могла. – И с работы тебя не в отпуск отправили. Я не дура, мам. Отпуск не дают на пять лет в деревню. Тебя выгнали. Из-за того деда. Ты мне наврала, как всегда, потому что ты всем врешь, «для моего блага», а потом удивляешься, что тебе не верят!

Стало тихо. Мама сидела очень прямо, положив обе ладони на клеенку. Лицо у нее было такое, какое бывало после самых тяжелых суток.

– Да, – сказала она. – Меня уволили. Я хотела тебе сказать.

– Когда? Через пять лет?

– Соня...

– Я к бабе Груне ночевать пойду.

– Никуда ты не пойдешь.

– Попробуй останови.

Она не пошла, конечно. Добежала до калитки, постояла в темноте, послушала, как на другом конце улицы лает чья-то собака, и вернулась, потому что стало холодно и потому что на самом деле уходить было некуда. Мама молча постелила ей постель. Соня легла лицом к стене.

Уснуть не получалось. Ныли пальцы. Обе кисти, от запястий до ногтей, тупо и нудно, как ноет зуб перед дождем. Это от спиц, решила она. Перевязала. Баба Груня предупреждала: с непривычки руки будут гудеть.

Часа в два ночи она встала попить. Мама спала, отвернувшись, и дышала ровно. На обратном пути Соня остановилась перед зеркалом, вделанным в дверцу буфета. В окно светила луна, и было видно все до последней веснушки.

У левого виска, там, где днем прошлась ладонь бабы Груни, в темных волосах белела прядь.

Соня подцепила ее пальцами и поднесла к глазам. Не один волосок и не два. Целая прядка шириной с мизинец, седая от корня до самого конца, жесткая, как проволока. Вчера ее не было. Соня каждое утро заплетала косу перед этим самым зеркалом и знала свою голову наизусть.

Сначала она испугалась. Потом, приглядевшись, передумала пугаться. Седая прядь на темном смотрелась даже красиво. Как у героини из сериала про ведьм. Девчонки в городе за такое мелирование отдавали по три тысячи в салоне. «От нервов, – подумала Соня мстительно. – Довела. Вот пусть

теперь любитесь». И решила матери не показывать, пока сама не заметит.

Она взяла с буфета телефон, включила фронтальную камеру, повернулась так, чтобы луна падала на висок, и сфотографировалась. Для блога. «Мой новый лук, спасибо стрессу».

На снимке у нее были морщины.

Тонкие, мелкие, веером от наружных углов глаз. И две поглубже, от крыльев носа к уголкам рта. Соня провела по экрану пальцем, думая, что это пыль. Увеличила. Морщины остались. С экрана на нее глядела она сама, только лет на двадцать старше, с усталым ртом и чужой белой прядью.

Она стерла снимок и сделала новый.

На новом было то же самое.

«Галочка, – вспомнила Соня. – Дед Савелий обещал настроить. Улучшение портрета. Это глитч, это фильтр, телефон считает...»

Она подняла глаза на зеркало. В зеркале ей было четырнадцать. Гладкий лоб, круглые щеки, прыщик на подбородке. Все как всегда.

Соня очень тихо положила телефон экраном вниз, забралась под одеяло и до рассвета лежала, сжимая и разжимая ноющие пальцы. Под рубашкой, на голом теле, грел живот красный пояс.

Глава 5. Седьмой кордон

Седую прядь Вера увидела утром. Соня проспала, чего с ней в Долгом еще не случалось, и лежала на спине, закинув руку за голову. Коса за ночь растрепалась. Вера подошла подоткнуть одеяло и остановилась.

Она постояла над дочерью минуту или две. Потом осторожно, двумя пальцами, взяла ее за кисть. Суставы на пальцах, те, что ближе к ладони, были припухшие, а кожа над ними чуть блестела. Соня во сне поморщилась и потянула руку к себе.

– Не трогай... Болит.

– Давно болит?

– С вечера, – Соня разлепила глаза, увидела мать, вспомнила про вчерашнее и отвернулась к стене. – Отстань. Это от вязания.

– Сожми кулак.

– Мам.

– Сожми, я сказала.

Соня сжала. Не до конца: пальцы остановились на полпути, и она зашипела сквозь зубы.

– Не сжимается. Они как деревянные. Сейчас разойдутся, вчера тоже так было, а потом прошло.

Утренняя скованность. Симметричное поражение мелких суставов кисти. Вера сорок раз читала это в учебнике и сот-

ни раз видела у своих пациенток, полных одышливых женщин за шестьдесят, которые вызывали скорую «на давление» и протягивали для манжеты скрюченные руки. У четырнадцатилетних девочек такого не бывает. То есть бывает, один случай на много тысяч, и называется это ювенильным артритом, и начинается он не за одну ночь.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.